

УДИВИТЕЛЬНОЕ

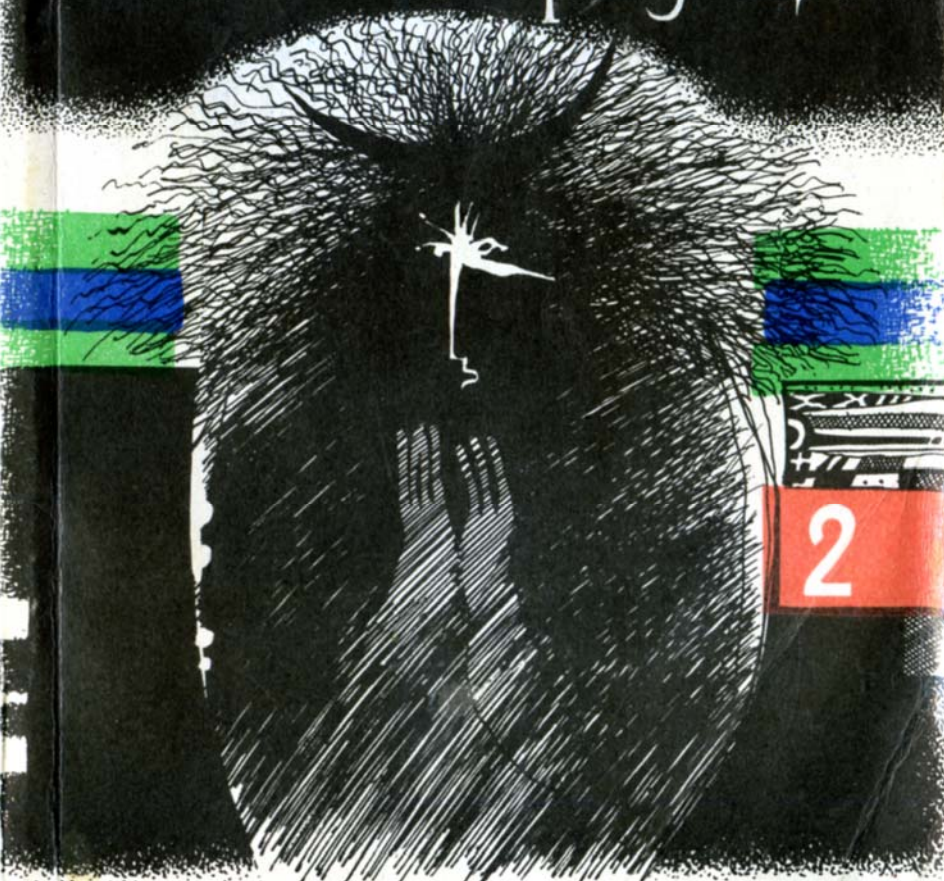
ЖУТКОЕ

АБСУРДНОЕ

СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ

Ужас

на сон грядущий

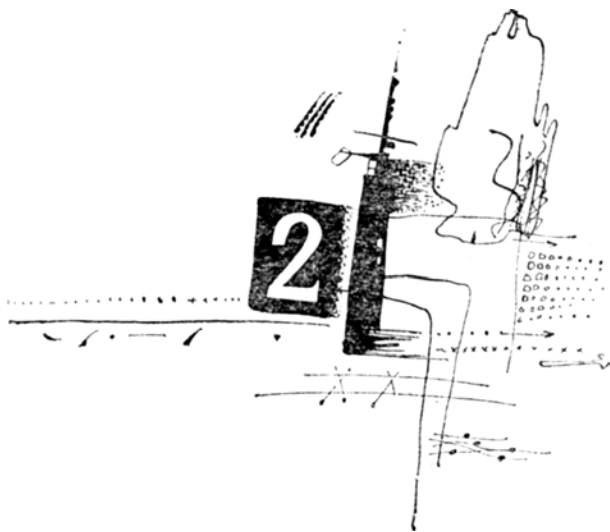


2

удивительное
жуткое
абсурдное
сверхъестественное

Ужас

на сон грядущий



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕНИЗДАТ • 1992

84(0)

Н12

Составитель *С. А. Прохватилова*

Редактор *Л. С. Логинова*

Художник *М. Л. Волкова*

$H \frac{4701000000-148}{M171(03)-92}$ без объявл.

ISBN 5-289-01473-X

© С. А. Прохватилова, составление, 1992

© М. Л. Волкова, оформление, 1992

Э. Т. А. ГОФМАН



Натанаэль – Лотару

Вы, верно, все теперь в ужасном беспокойстве, что я так долго-долго не писал. Матушка, конечно, сердится, а Клара, пожалуй, думает, что я провождаю жизнь свою в шумных удовольствиях и совсем позабыл прелестного моего ангела, чей облик столь глубоко запечатлен в моем уме и сердце. Но это несправедливо: всякий день и во всякий час я вспоминаю о вас всех, и в сладостных снах является мне приветливый образ милой моей Клерхен, и светлые глаза ее улыбаются мне так же пленительно, как это бывало, когда я приходил к вам. Ах, в силах ли был я писать вам в том душевном смятении, какое доселе расстраивало все мои мысли! Что-то ужасное вторглось в мою жизнь! Мрачное предчувствие страшной, грозящей мне участи стелется надо мною подобно черным тням облаков, которые не проникает ни один приветливый луч солнца. Но прежде надобно сказать тебе, что со мной случилось. Я знаю, что должен это сделать, но едва помыслю о том, во мне подымается безумный смех. Ах, любезный Лотар, как сумею я дать почувствовать тебе хоть отчасти, что случившееся со мной несколько дней тому назад и впрямь могло губительно возмутить мою жизнь! Когда бы ты был здесь, то увидел бы все сам; однако ж теперь ты, верно, почтешь меня за сумасбродного духовидца. Одним словом, то ужасное, что случилось со мною и произвело на меня смертоносное впечатление, от которого я тщетно силюсь избавиться, состояло просто-напросто в том, что несколько дней тому назад, именно 30 октября, в полдень, ко мне в комнату вошел продавец барометров и предложил мне свои товары. Я ничего не купил, да еще пригрозил сбросить его с лестницы, в ответ на что он незамедлительно удалился сам.

Ты догадываешься, что только совсем необыкновенные обстоятельства, оставившие глубокий след в моей жизни, могли придать важность сему приключению, так что особа злополучного старьевщика должна была оказать на меня действие столь губительное. И это так. Я собираю все свои силы, чтобы спокойно и терпеливо рассказать тебе кое-что из времен ранней моей юности, дабы подвижному твоему уму отчетливо и ясно представилось все в живых образах. Но едва хочу приступить к этому, как уже слышу твой смех и слова Клары: «Да ведь это сущее ребячество!» Смейтесь, прошу вас, смейтесь надо мною от всего сердца! Очень прошу вас! Но, боже милостивый, – волосы мои становятся дыбом, и мне кажется, что, умоляя вас смеяться надо мной, я нахожусь в таком же безумном отчаянии, в каком Франц Моор заклинал Даниэля. Но скорее к делу!

Кроме как во время обеда, я, братья мои и сестры редко видели днем нашего отца. Вероятно, он был очень занят своею должностью. После ужина, который, по старинному обыкновению, подавали уже в семь часов, мы все вместе с матушкой шли в отцовский кабинет и рассаживались за круглым

столом. Отец курил табак и время от времени прихлебывал пиво из большого стакана. Часто рассказывал он нам различные диковинные истории, причем сам приходил в такой раж, что его трубка всегда погасала, и я должен был подносить к ней горящую бумагу и снова ее разжигать, что меня весьма забавляло. Нередко также давал он нам книжки с картинками, а сам безмолвный и неподвижный сидел в креслах, пуская вокруг себя такие густые облака дыма, что мы все словно плавали в тумане. В такие вечера мать бывала очень печальна и, едва пробьет девять часов, говорила: «Ну, дети! Теперь в постель! В постель! Песочный человек идет, я уже примечаю!» И правда, всякий раз я слышал, как тяжелые, мерные шаги громыхали по лестнице; верно, то был Песочный человек. Однажды это глухое топание и грохот особенно напугали меня; я спросил мать, когда она нас уводила: «Ах, маменька, кто ж этот злой Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с виду?» — «Дитя мое, нет никакого Песочника, — ответила мать, — когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошило песком». Ответ матери не успокоил меня, и в детском моем уме явственно возникла мысль, что матушка отрицает существование Песочного человека для того только, чтоб мы его не боялись, — я-то ведь всегда слышал, как он подымается по лестнице! Подстрекаемый любопытством и желая обстоятельно разузнать все о Песочном человеке и его отношении к детям, я спросил наконец старую нянюшку, пестовавшую мою младшую сестру, что это за человек такой, Песочник? «Эх, Танельхен, — сказала она, — да неужто ты еще не знаешь? Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню песка, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как у сов, и они выклеивают глаза непослушным человеческим детям». И вот воображение мое представило мне страшный образ жестокого Песочника; вечером, как только загремят на лестнице шаги, я дрожал от тоски и ужаса. Мать ничего не могла добиться от меня, кроме прерываемых всхлипываниями криков: «Песочник! Песочник!» Опрометью убегал я в спальню, и всю ночь мучил меня ужасающий призрак Песочного человека. Я уже пришел в такие лета, что мог уразуметь, что с Песочным человеком и его гнездом на луне все обстоит не совсем так, как это насаждала мне нянюшка; однако же Песочный человек все еще оставался для меня страшным призраком, — ужас и трепет наполняли меня, когда я не только слышал, как он подымается по лестнице, но и с шумом раскрывает дверь в кабинет отца и входит туда. Иногда он подолгу пропадал. Но после того приходил несколько дней кряду. Так прошло немало лет, и все ж я никак не мог свыкнуться с этим зловещим наваждением и в моей душе не меркнул образ жестокого Песочника. Короткое его обхождение с моим отцом все более и более занимало мое воображение; спросить об этом самого отца не позволяла какая-то непреодолимая робость, но желание самому — самому исследовать эту тайну, увидить баснословного Песочника, возрастало во мне год от году. Песочный человек увлек меня на стезю чудесного, необычайного, куда так легко совратить детскую душу. Ничто так не любил я, как читать или слушать страшные истории о кобольдах, ведьмах, гномах и пр.; но над всеми

властвовал Песочный человек, которого я беспрестанно рисовал повсюду: на столах, шкафах, стенах – углем и мелом в самых странных и отвратительных обликах. Когда мне минуло десять лет, мать, выпроводив меня из детской, отвела мне комнатушку в коридоре неподалеку от отцовского кабинета. Нас все еще торопливо отсылали спать, едва пробьет девять часов и в доме послышится приближение незнакомца. Из своей каморки я слышал, как он входил к отцу, и вскоре мне начинало казаться, что по дому разносится какой-то тонкий, странно пахнущий чад. Любопытство все сильнее распяляло меня и наконец придало мне решимость как-нибудь да повидать Песочного человека. Часто, как только уйдет мать, я прокрадывался из своей комнатушки в коридор. Но не мог ничего приметить, ибо, когда я достигал места, откуда мог увидеть Песочного человека, он уже затворял за собой дверь. Наконец, гонимый непоборимым желанием, я решил спрятаться в отцовском кабинете и дожждаться там Песочного человека.

Однажды вечером по молчаливости отца и печальной задумчивости матери я заключил, что должен прийти Песочный человек; а посему, сказавшись весьма усталым и не дожидаясь девяти часов, я оставил комнату и притаился в темном закоулке подле самой двери. Входная дверь заскрипела; в сенях и на лестнице послышались медленные, тяжелые шаги. Мать торопливо прошла мимо, уводя детей. Тихо-тихо растворил я дверь отцовской комнаты. Он сидел, по своему обыкновению, безмолвный и неподвижный, спиной ко входу; он меня не заметил, я проворно скользнул в комнату и укрылся за занавеску, которой был задернут открытый шкаф, где висело отцовское платье. Ближе, все ближе слышались шаги, – за дверьми кто-то странно кашлял, кряхтел и бормотал. Сердце мое билось от страха и ожидания. Вот шаги загромыхали подле самой двери – подле самой двери. Кто-то сильно рванул ручку, дверь со скрипом растворилась! Крепясь изо всех сил, я осторожно высовываю голову вперед. Песочный человек стоит посреди комнаты прямо перед моим отцом, яркий свет свечей озаряет его лицо! Песочник, страшный Песочник – да это был старый адвокат Коппелиус, который частенько у нас обедал!

Однако ж никакое самое страшное видение не могло повергнуть меня в больший ужас, нежели этот самый Коппелиус. Представь себе высокого, плечистого человека с большой нескладной головой, землисто-желтым лицом; под его густыми седыми бровями злобно сверкают зеленоватые кошачьи глазки; огромный, здоровенный нос навис над верхней губой. Кривой рот его нередко подергивается злобной улыбкой; тогда на щеках выступают два багровых пятна и странное шипение вырывается из-за стиснутых зубов. Коппелиус являлся всегда в пепельно-сером фраке старинного покроя; такие же были у него камзол и панталоны, а чулки черные и башмаки со стразовыми пряжками. Маленький парик едва прикрывал его макушку, букли торчали торчком над его большими багровыми ушами, а широкий глухой кошелек¹ топорщился на затылке, открывая серебряную пряжку, стягивающую шейный платок. Весь его облик вселял ужас и отвращение; но особенно ненавистны были нам, детям, его узловатые косматые руки, так что нам претило все, до чего бы он ни дотронулся. Он это, приметил и стал тешить себя тем, что под

¹ Кошелек для косы. (Прим. ред.)

разными предложениями нарочно трогал печенья или фрукты, которые добрая наша матушка украдкой клала нам на тарелки, так что мы со слезами на глазах смотрели на них и не могли от тошноты и гадливости отвесть те лакомства, которые нас всегда радовали. Точно так же поступал, он по праздникам, когда отец наливал нам по рюмке сладкого вина. Он спешил перебрать все своими ручищами, а то и подносил рюмку к синим губам и заливался адским смехом, заметив, что мы не смели обнаружить нашу досаду иначе, как только тихими всхлипываниями. Он всегда называл нас зверенышами, в его присутствии нам не дозволялось и пикнуть, и мы от всей души проклинали мерзкого, враждебного человека, который с умыслом и намерением отравлял наши невиннейшие радости. Матушка, казалось, так же как и мы, ненавидела отвратительного Коппелиуса, ибо стоило ему появиться, как ее веселая непринужденность сменялась мрачной и озабоченной серьезностью. Отец обходился с ним как с высшим существом, которое надобно всячески ублажать и терпеливо сносить все его невежества. Довольно было малейшего намека – и для него готовили любимые кушанья и подавали редкостные вина.

Когда я увидел Коппелиуса, то меня, повергнув в ужас и трепет, осенила внезапная мысль, что ведь никто другой и не мог быть Песочным человеком, но этот Песочный человек уже не представлялся мне букой нянюшкиных сказок, который таскает детские глаза на прокорм своему отродью в совиное гнездо на луне, – нет! – это был отвратительный призрачный колдун, который всюду, где бы он ни появлялся, приносил горечь, напасть – временную и вечную погибель.

Я стоял словно замороженный. Высунув голову из занавесок, я так и застыл подслушивая, хотя и рисковал быть открытым и, как я хорошо понимал, жестоко наказанным. Отец встретил Коппелиуса весьма таинственно. «Живей! За дело!» – воскликнул тот глухим гнусавым голосом и скинул с себя платье. Отец безмолвно и мрачно снял шлафрок, и они облачились в длинные черные балахоны. Откуда они их взяли, я проглядел. Отец отворил дверцы стенного шкафа; и я увидел: то, что я издавна считал шкафом, была скорее черная выемка, где стоял небольшой очаг. Коппелиус приблизился, и голубое пламя, потрескивая, взвилось над очагом. Множество диковинных сосудов стояло вокруг. О боже! Когда старый мой отец, склонился над огнем, какая ужасная случилась с ним перемена! Казалось, жестокая судорожная боль преобразила его кроткое честное лицо в уродливую, отвратительную сатанинскую личину. Он походил на Коппелиуса! Сей последний, взяв раскаленные щипцы, вытаскивал ими добела раскаленные комья какого-то вещества, которое он потом усердно бил молотком. Мне чудилось, что везде вокруг мелькает множество человеческих лиц, только без глаз – вместо них ужасные, глубокие черные впадины. «Глаза сюда! Глаза!» – воскликнул Коппелиус глухим и грозным голосом. Объятый неизъяснимым ужасом, я вскрикнул и рухнул из моей засады на пол. И вот Коппелиус схватил меня. «А, звереныш! Звереныш!» – заблеял он, скрежеща зубами, поднял меня и швырнул на очаг, так что пламя опалило мои волосы. «Теперь у нас есть глаза, глаза, чудесные детские глаза». Так бормотал Коппелиус и, набрав в печи полные горсти раскаленных угольков, собирался бросить их мне в лицо. И вот отец мой, простирая к нему руки, взмолился: «Мастер! Мастер! Оставь глаза моему Натанаэлю, оставь!» Коппелиус громко захохотал. «Пусть

у малого останутся глаза, и. он хорошенько выплатит свой урок на этом свете; ну а все же мы наведем ревизию, как там у него прилажены руки и ноги». И вот он схватил меня с такой силой, что у меня захрустели все суставы, и принялся вертеть мои руки и ноги, то выкручивая их, то вправляя. «Ага, эта вот не больно ладно ходит! А эта хорошо, как и было! Старик знал свое дело!» – так шипел и бормотал Коппелиус. Но у меня в глазах все потемнело и замутилось, внезапная судорога пронзила все существо мое – я ничего более не чувствовал. Теплое нежное дыхание коснулось моего лица, я пробудился как бы от смертного сна, надо мною склонилась мать. «Тут ли еще Песочник?» – пролепетал я. «Нет, милое дитя мое, нет, он давным-давно ушел и не сделает тебе ничего дурного!» – так говорила матушка и целовала и прижимала к сердцу возвращенного ей любимого сына.

Но для чего утруждать тебя, любезный Лотар? Для чего столь пространно пересказывать тебе все подробности, когда еще так много надобно сообщить тебе? Словом, мое подслушивание было открыто, и Коппелиус жестоко обошелся со мной. Испуг и ужас произвели во мне сильную горячку, которою и страдал я несколько недель. «Тут ли еще Песочник?» – то были первые мои разумные слова и знак моего выздоровления, моего спасения. Теперь остается рассказать тебе о самом страшном часе моей юности; тогда ты убедишься: не ослабление глаз моих тому причина, что все представляется мне бесцветным, а темное предопределение и впрямь нависло надо мною, подобно мрачному облаку, которое я, быть может, рассею только смертью.

Коппелиус не показывался более; разнесся слух, что он оставил город. Минуло около года. Мы, по старому, неизменному своему обыкновению, сидели вечером за круглым столом. Отец был весел и рассказывал множество занимательных историй, случившихся с ним в путешествиях во времена его молодости. И вот, когда пробило девять часов, мы внезапно услышали, как заскрипели петли входной двери и медленные чугунные шаги загремели в сенях и по лестнице. «Это Коппелиус!» – сказала, побледнев, матушка. «Да! Это Коппелиус!» – повторил отец усталым, прерывающимся голосом. Слезы хлынули из глаз матушки. «Отец! Отец! – вскричала она. – Неужто все еще надо?» – «В последний раз! – отвечал он. – В последний раз приходит он ко мне, обещаю тебе. Ступай, ступай с детьми! Идите, идите спать! Покойной ночи!»

Меня словно придавил тяжелый холодный камень – дыхание мое сперлось! Мать, видя, что я застыл в неподвижности, взяла меня за руку: «Пойдем, Натанаэль, пойдем!» Я позволил увести себя, я вошел в свою комнату. «Будь спокоен, будь спокоен, ложись в постель – спи! Спи!» – крикнула мне вслед матушка; однако ж, томимый несказанным внутренним страхом и беспокойством, я не мог сомкнуть век. Ненавистный, мерзкий Коппелиус, сверкая глазами, стоял передо мной, глумливо смеясь, и я напрасно силился отогнать от себя его образ. Верно, было уже около полуночи, когда раздался страшный удар; словно выстрелили из пушки. Весь дом затрясся, что-то загрохотало и зашипело подле моей двери, а входная дверь с треском захлопнулась. «Это Коппелиус!» – воскликнул я вне себя и вскочил с постели. И вдруг послышался пронзительный крик безутешного, непереносимого горя; я бросился в комнату отца; дверь была отворена настежь, удушливый чад валил мне навстречу, служанка вопила: «Ах, барин, барин!» Перед дымящимся

очагом на полу лежал мой отец, мертвый, с черным, обгоревшим, обезображенным лицом; вокруг него визжали и выли сестры – мать была в беспамятстве. «Коппелиус, исчадие ада, ты убил отца моего!» – так воскликнул я и лишился чувств. Спустя два дня, когда тело моего отца положили в гроб, черты его снова просветлели и стали тихими и кроткими, как в продолжение всей его жизни. Утешение сошло в мою душу, когда я подумал, что его союз с адским Коппелиусом не навлечет на него осуждения вечного.

Взрыв разбудил соседей, о происшедшем разнеслась молва, и власти, уведомившись о том, хотели потребовать Коппелиуса к ответу; но он бесследно исчез из города.

Теперь, любезный мой друг, когда я открою тебе, что помянутый продавец барометров был не кто иной, как проклятый Коппелиус, то ты не станешь пенять на меня, что я понапрасну возмнил, будто это враждебное вторжение принесет мне великое несчастье. Он был одет иначе, но фигура и черты лица Коппелиуса слишком глубоко запечатлелись в моей душе, так что я никак не мог обознаться. Притом Коппелиус даже не переменял своего имени. Он выдает себя здесь за пьемонтского механика и называет себя Джузеппе Коппола.

Я решил хорошенько с ним переведаться и отомстить за смерть отца, чего бы то ни стоило.

Не говори ничего матушке о появлении этого мерзкого колдуна. Поклонись от меня милой Кларе, я напишу ей в более спокойном расположении духа. Прощай и пр.

Клара – Натанаэлю

Хотя ты давно ко мне не писал, но я все же уверена, что ты хранишь меня в своем уме и сердце. Ибо ты, верно, живо вспомнил обо мне, когда отправлял письмо к брату Лотару, а надписал мое имя. Я с радостью его распечатала и заметила ошибку, лишь дочитав до слов: «Ах, любезный Лотар!» Конечно, я должна была не читать далее, а отдать письмо брату. Но хотя ты с ребяческой задиристостью порой и выговаривал мне, что у меня такой спокойный и рассудительный нрав, что если бы дом вот-вот готов был обрушиться, то я, подобно некой женщине, прежде чем убежать, успела бы проворно поправить загнувшуюся занавеску, все ж мне едва ли надобно уверять, что твое письмо глубоко потрясло меня. Я едва дышала, в глазах у меня зарыбило. Ах, возлюбленный Натанаэль, что же столь ужасное могло возмутить жизнь твою? Мысль о разлуке, о том, что я никогда не свижусь с тобой, поразила меня как удар раскаленного кинжала. Я читала и перечитывала! Твое описание мерзкого Коппелиуса ужасно. Только теперь узнала я, какая страшная, жестокая кончина постигла твоего старого доброго отца. Брат Лотар, которому я возвратила твое письмо, старался меня успокоить, но мало в том преуспел. Зловещий продавец барометров Джузеппе Коппола неустанно следовал за мной по пятам, и, как мне ни стыдно признаться, он возмутил мой здоровый, всегда спокойный сон различными причудливыми видениями. Однако ж вскоре, уже поутру, все представилось мне иначе. Итак, не сердись на меня, возлюбленный мой, когда Лотар скажет тебе, что я, вопреки странному твоему

предчувствию, будто Коппелиус причинит тебе зло, все же весела и беспечальна, как и прежде.

Скажу чистосердечно: мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен. Видать, старый Коппелиус и впрямь был довольно мерзок, но то, что он ненавидел детей, вселяло в вас истинное к нему отвращение.

Страшный Песочник из нянюшкиной сказки весьма естественно соединился в твоей детской душе со старым Коппелиусом, который, даже когда ты перестал верить в Песочного человека, остался для тебя призрачным колдуном, особенно опасным для детей. Зловещие свидания его с твоим отцом в ночную пору были не что иное, как тайные занятия алхимией, чем матушка твоя не могла быть довольна, ибо на то, нет сомнения, уходило попусту много денег, да и, как всегда бывает с подобными адептами, сии труды, наполняя душу отца твоего обманчивыми стремлениями к высокой мудрости, отвлекали его от забот о своем семействе. Отец твой, верно, причинил себе смерть собственной неосторожностью, и Коппелиус в том неповинен. Поверишь ли, вчера я допытывалась у нашего сведущего соседа, аптекаря, могут ли во время химических опытов приключиться подобные взрывы, внезапно поражающие смертью. Он ответил: «Всёконечно!» – и описал, по своему обыкновению весьма пространно и обстоятельно, как это могло сделаться, на сказав при том множество мудреных слов, из которых я ни одного не могла упомянуть. Теперь ты станешь досадовать на свою Клару, ты скажешь: «В эту холодную душу не проникает ни один луч того таинственного, что так часто обвивает человека незримыми руками; она видит только пеструю поверхность мира и, как ребячливое дитя, радуется золотистым плодам, в сердцевине коих скрыт смертоносный яд».

Ах, возлюбленный Натанаэль, или тебе не верится, что и веселая, беспечальная, беззаботная душа может почувствовать враждебное проникновение темной силы, стремящейся погубить нас в нашем собственном «я»? Но прости, если я, неученая девушка, попытаюсь как-нибудь растолковать, что, собственно, я разумею под этой внутренней борьбой. В конце концов, я, верно, не найду надлежащих слов, и ты подымешь меня на смех, не оттого, что у меня глупые мысли, а потому, что я так нескладно пытаюсь их выразить.

Ежели существует темная сила, которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь на опасную губительную стезю, куда мы бы иначе никогда не вступили, – ежели существует такая сила, то она должна принять наш собственный образ, стать нашим «я»; ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной работы. Но ежели дух наш тверд и укреплен жизненной бодростью, то он способен отличить чуждое, враждебное ему воздействие, именно как таковое, и спокойно следовать тем путем, куда влекут нас наши склонности и призвание, – тогда эта зловещая сила исчезнет в напрасном борении за свой образ, который должен стать отражением нашего «я». «Верно и то, – прибавил Лотар, – что темная физическая сила, которой мы предаемся только по собственной воле, часто населяет нашу душу чуждыми образами, занесенными в нее внешним миром,

так что мы сами только воспламеняем наш дух, который, как представляется нам в диковинном заблуждении, говорит из этого образа. Это фантом нашего собственного «я», чье внутреннее сродство с нами и глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса». Теперь ты видишь, бесценный мой Натанаэль, что мы, я и брат Лотар, порядком наговорились о темных силах и началах, и эта материя – после того как я не без труда изложила здесь самое главное – представляется мне довольно глубокомысленною, Я не совсем хорошо понимаю последние слова Лотара, я только чувствую, что он под этим разумеет, и все же мне кажется, что все это весьма справедливо. Умоляю тебя, выкинь совсем из головы мерзкого адвоката Коппелиуса и продавца барометров Джузеппе Копполу. Проникнись мыслью, что эти чуждые образы не властны над тобою; только вера в их враждебное могущество может сделать их действительно враждебными тебе. Ежели бы каждая строчка твоего письма не свидетельствовала о жестоком смятении твоего ума, ежели бы твое состояние не сокрушало меня до глубины души, то я взаправду могла бы посмеяться над адвокатом-Песочником и продавцом барометров Коппелиусом, Будь весел, весел! Я решила быть твоим ангелом-хранителем, и как только мерзкий Коппола вознамерится смутить твой сон, явлюсь к тебе и громким смехом прогоню его прочь. Я нисколько не боюсь ни его самого, ни его гадких рук, и он не посмеет под видом адвоката поганить мне лакомства или, как Песочный человек, засыпать мне глаза песком.

Твоя навеки, сердечно любимый мой Натанаэль, и т. д. и т. д.

Натанаэль – Лотару

Мне очень досадно, что Клара намереди, правда, по причине моей рассеянности, ошибкою распечатала и прочла мое письмо к тебе. Она написала мне весьма глубокомысленное, философское письмо, где пространно доказывает, что Коппелиус и Коппола существуют только в моем воображении, они лишь фантомы моего «я», которые мгновенно разлетятся в прах, ежели я их таковыми признаю. В самом деле, кто бы мог подумать, что ум, так часто светящийся подобно сладостной мечте в этих светлых, прелестных, смеющихся детских глазах, мог быть столь рассудителен, столь способен к магистерским дефинициям. Она ссылается на тебя. Вы вместе говорили обо мне. Ты, верно, читаешь ей полный курс логики, чтобы она могла так тонко все различать и разделять. Брось это! Впрочем, теперь уже нет сомнения, что продавец барометров Джузеппе Коппола вовсе не старый адвокат Коппелиус. Я слушаю лекции у недавно прибывшего сюда профессора физики, природного итальянца, которого, так же как и знаменитого натуралиста, зовут Спаланцани. Он с давних лет знает Копполу, да и, кроме того, уже по одному выговору можно приметить, что тот чистейший пьемонтец. Коппелиус был немец, но мне кажется, не настоящий. Я еще не совсем спокоен. Почитайте меня вы оба, ты и Клара, – если хотите, – мрачным мечтателем, я все же не могу освободиться от впечатления, которое произвело на меня проклятое лицо Коппелиуса. Я рад, что он уехал из города, как мне сказывал Спаланцани. Кстати, этот профессор – преудивительный чудак. Низенький, плотный человек с выдающимися скулами, тонким носом,

оттопыренными губами, маленькими острыми глазками. Но лучше, нежели из любого описания, ты узнаешь его, когда поглядишь в каком-нибудь берлинском карманном календаре на портрет Калиостро, гравированный Ходовецким. Таков именно Спаланцани! Намедни подымаюсь я к нему по лестнице и примечаю, что занавеска, которая обыкновенно плотно задернута над стеклянной дверью, слегка завернулась и оставила небольшую щелку. Сам не знаю, как это случилось, но я с любопытством заглянул туда. В комнате перед маленьким столиком, положив на него сложенные вместе руки, сидела высокая, очень стройная, соразмерная во всех пропорциях, прекрасно одетая девица. Она сидела напротив дверей, так что я мог хорошо рассмотреть ее ангельское личико. Меня, казалось, она не замечала, вообще в ее глазах было какое-то оцепенение, я мог бы даже сказать, им недоставало зрительной силы, словно она спала с открытыми очами. Мне сделалось не по себе, и я тихонько прокрался в аудиторию, помещавшуюся рядом. После я узнал, что девица, которую я видел, была дочь Спаланцани, по имени Олимпия; он держит ее взаперти с такой достойной удивления строгостью, что ни один человек не смеет к ней проникнуть. В конце концов тут сокрыто какое-то важное обстоятельство, быть может, она слабоумна или имеет какой другой недостаток. Но для чего пишу я тебе обо всем этом? Я бы мог лучше и обстоятельнее рассказать тебе все это на словах. Знай же, что через две недели я буду с вами. Я непременно должен видеть прелестного, нежного моего ангела, мою Клару. Тогда рассеется то дурное расположение духа, которое (признаюсь) едва не овладело мною после ее злополучного рассудительного письма, поэтому я не пишу к ней и сегодня.

Кланяюсь несчетное число раз и т. д. и т. д.

Нельзя измыслить ничего более странного и удивительного, чем то, что приключилось с моим бедным другом, юным студентом Натанаэлем, и о чем я собираюсь тебе, снисходительный читатель, теперь рассказать. Не произошло ли тебе, благосклонный читатель, пережить что-либо такое, что всецело завладевало бы твоим сердцем, чувствами и помыслами, вытесняя все остальное? Все в тебе бурлит и клокочет, воспламененная кровь кипит в жилах и горячим румянцем заливают ланиты. Твой взор странен, он словно ловит в пустоте образы, незримые для других, и речь твоя теряется в неясных, вздохах. И вот друзья спрашивают тебя: «Что это с вами, почтеннейший? Какая у вас забота, дражайший?» И вот всеми пламенными красками, всеми тенями и светом хочешь ты передать возникшие в тебе видения и силишься обрести слова, чтобы хотя приступить к рассказу. Но тебе сдается, что с первого же слова ты должен представить все то чудесное, великолепное, страшное, веселое, ужасающее, что приключилось тебе, и поразить всех как бы электрическим ударом. Однако ж всякое слово, все, чем только располагает наша речь, кажется тебе бесцветным, холодным и мертвым. А ты все ищешь и ловишь, запинаешься и лепечешь, и трезвые вопросы твоих друзей, подобно ледяному дуновению ветра, остужают жар твоей души, пока он не угаснет совершенно. Но ежели ты, как смелый живописец, сперва очертишь дерзкими штрихами абрис внутреннего твоего видения, то потом уже с легкостью сможешь накладывать все более пламенные краски, и живой рой пестрых

образов увлечет твоих друзей, и вместе с тобой они увидят себя посреди той картины, что возникла в твоей душе. Должен признаться, благосклонный читатель, меня, собственно, никто не спрашивал об истории молодого Натанаэля; но ты отлично знаешь, что я принадлежу к той удивительной породе авторов, кои, когда они носят в себе что-либо, подобное только что описанному, тотчас воображают, что всякий встречный, да и весь свет, только и спрашивает: «Что там такое? Расскажите-ка, любезнейший!» И вот меня неудержимо влечет поговорить с тобой о злополучной жизни Натанаэля. Странность, необычайность ее поразили мою душу, и потому-то, а также чтобы я мог, о мой читатель, тотчас склонить тебя к пониманию всего чудесного, которого тут немало, я изо всех сил старался начать историю Натанаэля как можно умней – своеобразней, пленительней. «Однажды» – прекраснейшее начало для всякого рассказа – слишком обыденно! «В маленьком захолустном городке С. жил...» – несколько лучше, по крайней мере дает начало градации. Или сразу посредством «*medias in res*»¹: «„Проваливай ко всем чертям!“ – вскричал студент Натанаэль, и бешенство и ужас отразились в его диком взоре, когда продавец барометров Джузеппе Коппола...» Так я в самом деле и начал бы, когда б полагал, что в диком взоре студента Натанаэля чувствуется что-то смешное, однако ж эта история несколько не забавна. Мне не всходила на ум ни одна фраза, в которой хотя бы немного отражалось радужное сияние образа, возникшего перед моим внутренним взором. Я решил не начинать вовсе. Итак, благосклонный читатель, прими эти три письма, которые охотно передал мне мой друг Лотар, за абрис картины, на которую я, повествуя, буду стараться накладывать все больше и больше красок. Быть может, мне посчастливится, подобно хорошему портретному живописцу, так метко схватить иные лица, что ты найдешь их похожими, не зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты уже не раз видел этих людей своими собственными очами. И, быть может, тогда, о мой читатель, ты согласишься, что нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь, и что поэт может представить лишь ее смутное отражение, словно в негладко отполированном зеркале.

Для того чтобы сразу сказать все, что необходимо знать с самого начала, следует к предыдущим письмам добавить, что вскоре после смерти Натанаэлева отца Клара и Лотар, дети одного дальнего родственника, также недавно умершего и оставившего их сиротами, были приняты в семью матери Натанаэля. Клара и Натанаэль почувствовали друг к другу живейшую склонность, против чего не мог возразить ни один человек на свете; они были уже помолвлены, когда Натанаэль оставил город, чтобы продолжать свое занятие науками в Г. Как видно из его последнего письма, он находится сейчас там и слушает лекции у знаменитого профессора физики Спаланцани.

Теперь я мог бы спокойно продолжать свое повествование. Но в эту минуту образ Клары так живо представляется моему воображению, что я не могу отвести от него глаз, как это всегда со мной случается, когда она с милой улыбкой смотрит на меня. Клару никак нельзя было назвать красивой; на этом сходились все, кому по должности надлежало понимать в красоте. Но архитекторы отзывались с похвалой о чистых пропорциях ее стана,

¹ В центре событий (*лат.*).

живописцы находили, что ее спина, плечи и грудь сформированы, пожалуй, слишком целомудренно, но зато они все пленялись ее чудесными, как у Марии Магдалины, волосами и без конца болтали о колорите Баттони. А один из них, истинный фантаст, привел странное сравнение, уподобив глаза Клары озеру Рейсдаля, в зеркальной глади которого отражается лазурь безоблачного неба, леса и цветущей пажити, весь живой, пестрый, богатый, веселый ландшафт. Но поэты и виртуозы заходили еще дальше, уверяя: «Какое там озеро, какая там зеркальная гладь! Разве случалось нам видеть эту деву, когда бы взор ее не сиял чудеснейшей небесной гармонией, проникающей в нашу душу, так что все в ней пробуждается и оживает! Ежели и тогда мы не споем ничего путного, то от нас вообще мало проку, и это мы недвусмысленно читаем в тонкой усмешке, мелькающей на устах Клары, когда решаемся пропищать перед ней что-либо, притязающее называться пением, хотя это всего лишь бессвязные и беспорядочно скачущие звуки». Так оно и было. Клара была наделена воображением живым и сильным, как веселое, непринужденное, ребячливое дитя, обладала женским сердцем, нежным и чувствительным, и умом весьма проницательным. Умствующие и мудрствующие головы не имели у нее успеха, ибо светлый взор Клары и помянутая тонкая ироническая усмешка без лишних слов, вообще не свойственных ее молчаливой натуре, казалось, говорили им: «Милые друзья! Как можете вы от меня требовать, чтобы созданные вами расплывчатые тени я почла за подлинные фигуры, исполненные жизни и движения?» Оттого многие упрекали Клару в холодности, бесчувственности и прозаичности; зато другие, чье понимание жизни отличалось ясностью и глубиной, любили эту сердечную, рассудительную, доверчивую, как дитя, девушку, но никто не любил ее более Натанаэля, весело и ревностно упражнявшегося в науках и искусствах. Клара всей душой была предана Натанаэлю. Первые тени омрачили ее жизнь, когда он разлучился с нею. С каким восхищением бросилась она в его объятия, когда он, наконец и впрямь возвратился в родной город и вступил в родительский дом. Надежды Натанаэля сбылись; ибо с той минуты, когда он свиделся с Кларой, он уже не вспоминал более ни о ее философическом письме, ни об адвокате Коппелиусе; дурное расположение духа совсем изгладилось.

Однако ж Натанаэль был прав, когда писал другу своему Лотару, что образ отвратительного продавца барометров Копполы губительно проник в его жизнь. Все это чувствовали, ибо уже с первых дней пребывания Натанаэля показал полную перемену во всем своем существе. Он погрузился в мрачную мечтательность и предавался ей с такой странностию, какая за ним никогда не замечалась. Вся жизнь его состояла из сновидений и предчувствий. Он беспрестанно говорил, что всякий человек, мня себя свободным, лишь служит ужасной игре темных сил; тщетно будет им противиться, надо со смирением сносить то, что предначертано самим роком. Он заходил еще далее, утверждая, что весьма безрассудно полагать, будто в искусстве и науке можно творить по собственному произволу, ибо вдохновение, без коего невозможно ничего произвести, рождается не из нашей души, а от воздействия какого-то вне нас лежащего высшего начала.

Рассудительной Кларе все эти мистические бредни были в высшей степени противны, но все старания их опровергнуть, по-видимому, были напрасны. Только когда Натанаэль стал доказывать, что Коппелиус и есть то злое начало,

которое овладело им с той минуты, как он подслушивал за занавесом, и что отвратительный сей демон ужаснейшим образом может смутить их любовное счастье, Клара вдруг сделалась весьма серьезной и сказала:

– Да, Натанаэль! Ты прав. Коппелиус – злое, враждебное начало, он, подобно дьявольской силе, которая явственно проникла в нашу жизнь, может произвести ужаснейшее действие, но только в том случае, ежели ты не исторгнешь его из своего ума и сердца. Покуда ты в него веришь, он существует и оказывает на тебя свое действие, только твоя вера и составляет его могущество.

Натанаэль, разгневанный тем, что Клара допускает бытие демона лишь в собственной его душе, пустился было в изложение целого учения о дьяволе и темных силах, но Клара, к немалой его досаде, с неудовольствием перебила его каким-то ничтожным замечанием. Он полагал, что холодным, нечувствительным душам не дано постичь столь глубокие тайны, однако ж, не отдавая себе отчета, что к подобным низменным натурам он причисляет и Клару, не оставлял попыток приобщить ее к этим тайнам. Рано поутру, когда Клара помогала готовить завтрак, он стоял подле нее и читал ей всевозможные мистические книги, так что Клара наконец сказала:

– Ах, любезный Натанаэль, что, ежели мне вздумается обозвать самого тебя злым началом, оказывающим губительное действие на мой кофей? Ведь ежели я брошу все и примусь слушать тебя не сводя глаз, как ты того желаешь, то кофей непременно убежит и все останутся без завтрака!

Натанаэль поспешно захлопнул книгу и в гневе убежал в свою комнату. Прежде он особенно хорошо умел сочинять веселые, живые рассказы, которые Клара слушала с непритворным удовольствием; теперь его творения сделались мрачными, невразумительными, бесформенными, и, хотя Клара, щадя его, не говорила об этом, он все же легко угадывал, как мало они ей приятны. Ничто не было ей так несносно, как скука; в ее взорах и речах тотчас обнаруживалась непреодолимая умственная дремота. Сочинения Натанаэля и впрямь были отменно скучны. Его досада на холодный, прозаический нрав Клары возрастала с каждым днем; Клара также не могла побороть свое неудовольствие темным, сумрачным, скучным мистицизмом Натанаэля, и таким образом, неприметно для них самих, сердца их все более и более разделялись. Образ отвратительного Коппелиуса, как признавался сам себе Натанаэль, поблек в его воображении, и ему часто стоило немалого труда живо представить его в своих стихах, где тот выступал в роли ужасного фатума. Наконец ему вздумалось сделать предметом стихотворения свое темное предчувствие, будто Коппелиус смутит его любовное счастье. Он представил себя соединенным с Кларою вечной любовью, но время от времени словно черная рука вторгается в их жизнь и похищает одну за другой ниспосланные им радости. Наконец, когда они уже стоят перед алтарем, появляется ужасный Коппелиус и прикасается к прелестным глазам Клары; подобно кровавым искрам, они проникают в грудь Натанаэля, паля и обжигая. Коппелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный круг, который вертится с быстротою вихря и с шумом и ревом увлекает его за собой. Все завывает, словно злобный ураган яростно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно черным седоголовым исполинам. Но посреди этого дикого бушевания слышится голос Клары: «Разве ты не в силах взглянуть на

меня? Коппелиус тебя обманул, то не мои глаза опалили тебе грудь, то были горящие капли крови собственного твоего сердца, – мои глаза целы, взгляни на меня!» Натанаэль думает: «Это Клара – и я предан ей навеки!» И вот будто эта мысль с непреодолимой силой врывается в огненный круг; он перестает вращаться, и глухой рев замирает в черной бездне. Натанаэль глядит в глаза Кларе; но это сама смерть приветливо взирает на него очами любимой.

Сочиняя это, Натанаэль был весьма рассудителен и спокоен, он оттачивал и улучшал каждую строку, и так как он подчинил себя метрическим канонам, то не успокоился до тех пор, пока его стих не достиг полной чистоты и благозвучия. Но когда труд его пришел к концу и он прочитал свои стихи вслух, внезапный страх и трепет объяли его, и он вскричал в исступлении: «Чей это ужасающий голос?» Но вскоре ему снова показалось, что это лишь весьма удачное поэтическое произведение, и он решил, что оно должно воспламенить холодную душу Клары, хотя и не мог дать себе ясного отчета, для чего, собственно, надобно воспламенять ее и куда это заведет, ежели начать томить ее ужасающими образами, которые предвещают ее любви страшную и губительную участь.

Натанаэль и Клара сидели однажды в маленьком садике подле дома; Клара была весела, ибо Натанаэль целых три дня, которые он употребил на сочинение стихов, не мучил ее своими снами и предчувствиями. Натанаэль, как и прежде, с большой живостью и радостью говорил о различных веселых предметах, так что Клара сказала:

– Ну вот, наконец-то ты опять совсем мой, видишь, как мы прогнали этого мерзкого Коппелиуса?

Но тут Натанаэль вспомнил, что в кармане у него стихи, которые он намеревался ей прочесть. Он тотчас вынул тетрадь и начал читать; Клара, по обыкновению, ожидая чего-нибудь скучного, с терпеливой покорностью принялась за вязанье. Но когда мрачные облака стали все более и более сгущаться, Клара выронила из рук чулок и пристально посмотрела в глаза Натанаэлю. Тот безудержно продолжал читать, щеки его пылали от внутреннего жара, слезы лились из глаз; наконец он кончил, застонав от глубокого изнеможения, взял руку Клары и вздохнул, словно в безутешном горе: «Ах! Клара! Клара!» Клара с нежностью прижала его к груди и сказала тихо, но твердо и серьезно:

– Натанаэль, возлюбленный мой Натанаэль, брось эту вздорную, нелепую, сумасбродную сказку в огонь.

Тут Натанаэль вскочил и с запальчивостью, оттолкнув от себя Клару, вскричал:

– Ты бездушный, проклятый автомат!

Он убежал; глубоко оскорбленная Клара залилась горькими слезами. «Ах, он никогда, никогда не любил меня, он не понимает меня!» – громко восклицала она, рыдая. Лотар вошел в беседку; Клара была принуждена рассказать ему все случившееся; он любил сестру свою всем сердцем, каждое слово ее жалобы, подобно искре, воспламеняло его душу, так что неудовольствие, которое он давно питал против мечтательного Натанаэля, перешло в бешеный гнев. Он побежал за ним и стал жестоко укорять его за безрассудный поступок, на что вспыльчивый Натанаэль отвечал ему с такою же горячностью. За «сумасбродного, безумного шута» было заплачено именем

души низкой, жалкой, обиденной. Поединок был неизбежен. Они порешили на другой день поутру сойтись за садом и перевестись друг с другом, по тамошнему академическому обычаю, на остро отточенных коротких рапирах. Мрачные и безмолвные, бродили они вокруг; Клара слышала их перепалку и приметила, что в сумерки фехтмейстер принес рапиры. Она предугадывала, что должно случиться. Прибыв на место поединка, Натанаэль и Лотар все в том же мрачном молчании скинули верхнее платье и, сверкая очами, с кровожадной яростью готовы были напасть друг на друга, как, отворив садовую калитку, к ним бросилась Клара. Рыдая, она восклицала:

– Неистовые, бешеные безумцы! Заколите меня, прежде чем станете сражаться! Как же мне жить на свете, когда возлюбленный убьет моего брата или мой брат возлюбленного!

Лотар опустил оружие и в безмолвии потупил глаза, но в душе Натанаэля вместе со снедающей тоской возродилась прежняя любовь, какую он чувствовал к прелестной Кларе в беспечальные дни своей юности. Он выронил смертоносное оружие и упал к ногам Клары.

– Простишь ли ты меня когда-нибудь, моя Клара, единственная любовь моя? Простишь ли ты меня, любезный брат мой Лотар?

Лотар был тронут его глубокой горестью. Примиренные, все трое обнимали друг друга и клялись вечно пребывать в непрестанной любви и верности.

Натанаэлю казалось, что с него свалилась безмерная тяжесть, пригнетавшая его к земле, и что, восстав против темной силы, овладевшей им, он спас все свое существо, которому грозило уничтожение. Еще три блаженных дня провел он с любимыми друзьями, потом отправился в Г., где полагал пробыть еще год, чтобы потом навсегда воротиться в родной город.

От матери Натанаэля скрыли все, что имело отношение к Коппелиусу, ибо знали, что она не могла без содрогания вспоминать о человеке, которого она, как и Натанаэль, считала виновным в смерти своего мужа.

Каково было удивление Натанаэля, когда, направляясь к своей квартире, он увидел, что весь дом сгорел и на пожарище из-под груды мусора торчали лишь голые обгорелые стены. Невзирая на то что огонь занялся в лаборатории аптекаря, жившего в нижнем этаже, и дом стал выгорать снизу, отважные и решительные друзья Натанаэля успели вовремя проникнуть в его комнату, находившуюся под самой крышей, и спасли его книги, манускрипты и инструменты. Все в полной сохранности было перенесено в другой дом, где они наняли комнату и куда Натанаэль тотчас переселился. Он не придавал особого значения тому, что жил теперь как раз напротив профессора Спаланцани, и точно так же ему нисколько не показалось странным, когда он заметил, что из его окна видна комната, где часто сиживала в одиночестве Олимпия, так что он мог отчетливо различить ее фигуру, хотя черты лица ее оставались сбивчивы и неясны. Правда, наконец и его удивило, что Олимпия целыми часами оставалась все в том же положении, в каком он ее однажды увидел через стеклянную дверь; ничем не занимаясь, она сидела за маленьким столиком, неотступно устремив на него неподвижный взгляд; он должен был признаться, что никогда еще не видывал такого прекрасного стана; меж тем,

храня в сердце облик Клары, он оставался совершенно равнодушен к одеревенелой и неподвижной Олимпии и только изредка бросал поверх компендиума рассеянный взор на эту прекрасную статую, и это было все. И вот однажды, когда он писал письмо Кларе, к нему тихо постучали; на его приглашение войти дверь отворилась и отвратительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему Спаланцани о своем земляке Копполе и что он сам свято обещал возлюбленной относительно Песочника-Коппелиуса, он устыдился своего ребяческого страха перед привидениями, с усилием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокойствием:

– Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня!

Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огромный рот в мерзкую улыбку, сверкая маленькими колючими глазками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал:

– Э, не барометр, не барометр! Есть хороши глаз – хороши глаз!

Натанаэль вскричал в ужасе:

– Безумец, как можешь ты продавать глаза? Глаза! Глаза!

Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе.

– Ну вот, ну вот, – очки, очки надевать на нос, – вот мой глаз – хороши глаз!

И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и тарасились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал:

– Остановись, остановись, ужасный человек!

Он крепко схватил Копполу за руку в ту минуту, когда тот полез в карман, чтобы достать еще новые очки, невзирая на то что весь стол уже был ими завален. С противным, сиплым смехом Коппола тихо высвободился, приговаривая:

– А, – не для вас, – но вот хорош стекло. – Он сгреб в кучу все очки, попрятал их и вынул из бокового кармана множество маленьких и больших подозрительных трубок. Как только очки были убраны, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кларе, понял, что ужасный сей призрак возник в собственной его душе, равно как и то, что Коппола – весьма почтенный механик и оптик, а никак не проклятый двойник и выходец с того света Коппелиус. Также и во всех инструментах, которые Коппола разложил на столе, не было ничего особенного, по крайней мере столь призрачного, как в очках, и, чтобы все загладить, Натанаэль решил в самом деле что-нибудь купить у Копполы. Итак, он взял маленькую карманную подозрительную трубку весьма искусной работы и, чтобы попробовать ее, посмотрел в окно. Во всю жизнь не попадались ему стекла, которые бы так верно, чисто и явственно приближали предметы. Невольно он поглядел в комнату Спаланцани; Олимпия, по обыкновению, сидела за маленьким столом, положив на него руки и сплетя пальцы. Тут только узрел Натанаэль дивную красоту ее лица.

Одни глаза только казались ему странно неподвижными и мертвыми. Но чем пристальнее он всматривался в подзорную трубку, тем более казалось ему, что глаза Олимпии испускают влажное лунное сияние. Как будто в них только теперь зажглась зрительная сила; все живее и живее становились ее взоры. Натанаэль как завороченный стоял у окна, беспрестанно созерцая небесно прекрасную Олимпию. Покашливание и пошаркивание, послышавшиеся подле него, пробудили его как бы от глубокого сна. За его спиной стоял Коппола: «Tre rechini – три дуката». Натанаэль совершенно забыл оптика; он поспешно заплатил, сколько тот потребовал.

– Ну как, хорош стекло? Хорош стекло? – спросил с коварной усмешкой Коппола мерзким, сильным голосом.

– Да, да, да! – досадливо отвечал Натанаэль.

– Adieu, любезный. – Коппола удалился, не переставая бросать на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал, как тот громко смеялся на лестнице. «Ну вот, – решил он, – он смеется надо мною потому, что я слишком дорого заплатил за эту маленькую подзорную трубку – слишком дорого заплатил!» Когда он шептал эти слова, в комнате послышался леденящий душу, глубокий, предсмертный вздох; дыхание Натанаэля перехватило от наполнившего его ужаса. Но это он сам так вздохнул, в чем он тотчас же себя уверил. «Клара, – сказал он наконец самому себе, – справедливо считает меня вздорным духовидцем, однако ж не глупо ли, – ах, более чем глупо, – что нелепая мысль, будто я переплатил Копполе за стекло, все еще странно тревожит меня; я не вижу для этого никакой причины». И вот он присел к столу, чтобы окончить письмо Кларе, но, глянувши в окно, убедился, что Олимпия все еще на прежнем месте, и в ту же минуту, словно побуждаем непреодолимою силою, он вскочил, схватил подзорную трубку Копполы и уже не мог более отвести взора от прельстительного облика Олимпии, пока его друг и названный брат Зигмунд не пришел за ним, чтобы идти на лекцию профессора Спаланцани. Занавеска, скрывавшая роковую комнату, была плотно задернута; ни в этот раз, ни в последующие два дня он не мог увидеть Олимпию ни здесь, ни в ее комнате, хотя почти не отрывался от окна и беспрестанно смотрел в подзорную трубу Копполы. На третий день занавесили даже окна. Полон отчаяния, гонимый тоской и пламенным желанием, он побежал за город. Образ Олимпии витал перед ним в воздухе, выступая из-за кустов, и большими светлыми глазами глядел на него из прозрачного родника. Облик Клары совершенно изгладился из его сердца; ни о чем более не думая, как только об Олимпии, он стонал громко и горестно: «О прекрасная, горная звезда моей любви, неужто возшла ты для того только, чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить меня во мраке безутешной ночи?»

Возвращаясь домой, Натанаэль заметил в доме профессора Спаланцани шумное движение. Двери были растворены настежь, вносили всякую мебель; рамы в окнах первого этажа были выставлены, хлопотливые служанки сновали взад и вперед, подметали пол и смахивали пыль длинными волосяными щетками. Столяры и обойщики оглашали дом стуком молотков. Натанаэль в совершенном изумлении остановился посреди улицы; тут к нему подошел Зигмунд и со смехом спросил:

– Ну, что скажешь о старике Спаланцани?

Натанаэль ответил, что он решительно ничего не может сказать, ибо ничего не знает о профессоре, более того, не может надивиться, чего ради в таком тихом, нелюдимом доме поднялась такая кутерьма и суматоха; тут он узнал от Зигмунда, что Спаланцани дает завтра большой праздник, концерт и бал и что приглашена половина университета. Прошел слух, что Спаланцани в первый раз покажет свою дочь, которую он так долго и боязливо скрывал от чужих взоров.

Натанаэль нашел у себя пригласительный билет и в назначенный час с сильно бьющимся сердцем отправился к профессору, когда уже стали съезжаться кареты и убранные залы засияли огнями. Собрание было многочисленно и блестяще. Олимпия явилась в богатом наряде, выбранном с большим вкусом. Нельзя было не восхититься прекрасными чертами ее лица, ее станом. Ее несколько странно изогнутая спина, ее талия, тонкая как у осы, казалось, происходили от слишком сильной шнуровки. В ее осанке и поступи была заметна какая-то размеренность и жесткость, что многих неприятно удивило; это приписывали принужденности, которую она испытывала в обществе. Концерт начался. Олимпия играла на фортепиано с величайшей беглостью, а также пропела одну бравурную арию чистым, почти резким голосом, похожим на хрустальный колокольчик. Натанаэль был вне себя от восторга; он стоял в самом последнем ряду, и ослепительный блеск свечей не позволял ему хорошенько рассмотреть черты певицы. Поэтому он незаметно вынул подзорную трубу Копполы и стал смотреть через нее на прекрасную Олимпию. Ах, тут он приметил, с какой тоской глядит она на него, как всякий звук сперва возникает в полном любви взоре, который воспламеняет его душу. Искуснейшие рулады казались Натанаэлу возносящимся к небу ликованием души, просветленной любовью, и когда в конце каденции по залу рассыпалась долгая звонкая трель, словно пламенные руки внезапно обвили его, он уже не мог совладать с собою и в исступлении от восторга и боли громко воскликнул: «Олимпия!» Все обернулись к нему, многие засмеялись. Соборный органист принял еще более мрачный вид и сказал только: «Ну-ну!» Концерт окончился, начался бал. «Танцевать с нею – с нею!» Это было целью всех помыслов, всех желаний Натанаэля; но как обрести в себе столько дерзости, чтобы пригласить ее, царицу бала? Но все же! Когда танцы начались, он, сам не зная как, очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и, едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов, взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии; он содрогнулся, почувствовав ужасающий холод смерти; он пристально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и желанием, и в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее холодной руки началось биение пульса и в них закипела живая горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась любовным восторгом; он охватил стан прекрасной Олимпии и умчался с нею в танце. До сих пор он полагал, что всегда танцует в такт, но своеобразная ритмическая твердость, с какой танцевала Олимпия, порядком сбивала его, и он скоро заметил, как мало держится такта. Однако он не хотел больше танцевать ни с какой другой женщиной и готов был тотчас убить всякого, кто бы ни подошел пригласить Олимпию. Но это случилось всего два раза, и, к его изумлению, Олимпия, когда начинались танцы, всякий раз оставалась на месте, и он не устал все снова и снова ее приглашать. Если бы Натанаэль мог видеть что-либо кроме прекрасной Олимпии, то неминуемо

приключилась бы какая-нибудь досадительная ссора и перепалка; ибо, нет сомнения, негромкий, с трудом удерживаемый смех, возникавший по углам среди молодых людей, относился к прекрасной Олимпии, на которую они, неизвестно по какой причине, все время устремляли любопытные взоры. Разгоряченный танцами и в изобилии выпитым вином, Натанаэль отбросил природную застенчивость. Он сидел подле Олимпии и, не отпуская ее руки, с величайшим пылом и воодушевлением говорил о своей любви в выражениях, которых никто не мог бы понять – ни он сам, ни Олимпия. Впрочем, она-то, быть может, и понимала, ибо не сводила с него глаз и поминутно вздыхала: «Ах-ах-ах!»

В ответ Натанаэль говорил:

– О прекрасная небесная дева! Ты луч из обетованного потустороннего мира любви! В кристальной глубине твоей души отражается все мое бытие! – И еще немало других подобных слов, на что Олимпия все время отвечала только: «Ах-ах-ах!»

Профессор Спаланцани несколько раз проходил мимо счастливых влюбленных и, глядя на них, улыбался с каким-то странным удовлетворением. Меж тем Натанаэлю, хотя он пребывал в совсем ином мире, вдруг показалось, что в покоях профессора Спаланцани стало темнее; он огляделся и, к своему немалому испугу, увидел, что в пустом зале догорают и вот-вот погаснут две последние свечи. Музыка и танцы давно прекратились. «Разлука, разлука!» – вскричал он в смятении и отчаянии. Он поцеловал руку Олимпии, он наклонился к ее устам, холодные как лед губы встретились с его пылающими! И вот он почувствовал, что ужас овладевает им, как и тогда, когда он коснулся холодной руки Олимпии; легенда о мертвой невесте внезапно пришла ему на ум; но Олимпия крепко прижала его к себе, и казалось, поцелуй наполнил живительным теплом ее губы. Профессор Спаланцани медленно прохаживался по опустевшей зале; шаги его громко повторяло эхо, зыбкие тени скользили по его фигуре, придавая ему ужасающий, призрачный вид.

– Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, Олимпия? Одно только слово! Любишь ли ты меня? – шептал ей Натанаэль, но Олимпия, поднимаясь с места, только вздохнула: «Ах-ах-ах!»

– О прекрасная благосклонная звезда моей любви, – говорил Натанаэль, – ты взшла для меня и будешь вечно сиять и преображать светом своим мою душу!

– Ах-ах! – отвечала Олимпия, удаляясь. Натанаэль пошел за ней; они очутились перед профессором.

– Вы необыкновенно живо беседовали с моей дочерью, – сказал он, улыбаясь. – Что ж, любезный господин Натанаэль, ежели вы находите приятность в конверсации с этой робкой девушкой, я всегда буду рад видеть вас у себя!

Натанаэль ушел, унося в сердце своем необъятное сияющее небо.

Все следующие дни праздник Спаланцани был предметом городских толков. И хотя профессор употребил все усилия, чтобы блеснуть пышностью и великолепием, однако ж сыскались насмешники, сумевшие порассказать о всяких странностях и нелепостях, какие были замечены на празднике, и особенно нападавшие на оцепенелую, безгласную Олимпию, которую, невзирая на красивую наружность, обвиняли в совершенном тупоумии, по

какой причине Спаланцани и скрывал ее так долго. Натанаэль слушал эти толки не без затаенного гнева, но он молчал; ибо, полагал он, стоит ли труда доказывать этим буршам, что их собственное тупоумие препятствует им познать глубокую прекрасную душу Олимпии.

– Сделай милость, брат, – спросил его однажды Зигмунд, – сделай милость и скажи, как это тебя угораздило втюриться в эту деревянную куклу, в эту восковую фигуру?

Натанаэль едва не разгневался, но тотчас же одумался и ответил:

– Скажи мне, Зигмунд, как от твоей впечатлительной души, от твоих ясновидящих глаз, всегда открытых для всего прекрасного, могли ускользнуть неземные прелести Олимпии? Но потому – да возблагодарим за это судьбу! – ты не сделался моим соперником; ибо тогда один из нас должен был упасть, истекая кровью.

Зигмунд сразу увидел, как далеко зашел его друг, искусно переменял разговор и, заметив, что в любви никогда нельзя судить о предмете, прибавил:

– Однако достойно удивления, что у многих из нас об Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась нам – не посетуй, брат! – какой-то странно-скованной и бездушной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так же, как и лицо! Ее можно было бы почесть красавицей, когда бы взор ее не был так безжизнен, я сказал бы даже, лишен зрительной силы. В ее поступи какая-то удивительная размеренность, каждое Движение словно подчинено ходу колес заводного механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный бездушный такт поющей машины; то же можно сказать и о ее танце. Нам сделалось не по себе от присутствия этой Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось, будто она только поступает, как живое существо, но тут кроется какое-то особое обстоятельство.

Натанаэль не дал воли горькому чувству, охватившему его было после слов Зигмунда, он поборол свою досаду и только сказал с большой серьезностью:

– Может статься, что вам, холостым прозаикам, и не по себе от присутствия Олимпии. Но только душе поэта открывает себя сходная по натуре организация! Только мне светят ее полные любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и помыслы, только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам, может статься, не по нраву, что она не вдается в пустую болтовню, как иные поверхностные души. Она не многоречива, это правда, но ее скупые слова служат как бы подлинными иероглифами внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бытия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны.

– Да сохранит тебя Бог, любезный брат, – сказал Зигмунд с большой нежностью, почти скорбно, – но мне кажется, ты на дурном пути. Положись на меня, когда всё... нет, я ничего не могу больше сказать!..

Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный, прозаический Зигмунд неприятно ему предан, и с большою сердечностью пожал протянутую ему руку.

Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую, он когда-то любил; мать, Лотар – все изгладилось из его памяти, он жил только

для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном родстве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня, и все это вперемежку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и канцонами он без усталости целыми часами читал Олимпии. Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием – одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец подымался с места и целовал ей руку, и иногда и в губы, она вздыхала: «Ах-ах!» – и добавляла:

– Доброй ночи, мой милый!

– О прекрасная, неизреченная душа! – восклицал Натанаэль, возвратясь в свою комнату. – Только ты, только ты одна глубоко понимаешь меня!

Он трепетал от внутреннего восторга, когда думал о том, какое удивительное созвучие их душ раскрывалось с каждым днем; ибо ему чудилось, что Олимпия почерпнула суждение о его творениях, о его поэтическом даре из самой сокровенной глубины его души, как если бы прозвучал его собственный внутренний голос. Так оно, надо полагать, и было; ибо Олимпия никаких других слов, кроме упомянутых выше, никогда не произносила. Но если Натанаэль в светлые, рассудительные минуты, как, например, утром, тотчас после пробуждения, и вспоминал о полнейшей пассивности и немногословии Олимпии, то все же говорил: «Что значат слова, слова! Взгляд ее небесных очей говорит мне более, нежели любой язык на земле! Да и может ли дитя небес вместить себя в узкий круг, очерченный нашими жалкими земными нуждами?»

Профессор Спаланцани, казалось, донельзя был обрадован отношениями его дочери с Натанаэлем; он недвусмысленно оказывал ему всяческие знаки благоволения, и когда Натанаэль наконец отважился обиняком высказать свое желание обручиться с Олимпией, профессор расплылся в улыбке и объявил, что предоставляет своей дочери свободный выбор. Ободренный этими словами, с пламенным желанием в сердце, Натанаэль решился на следующий же день умолять Олимпию со всею откровенностью, в ясных словах сказать ему то, что уже давно открыли ему ее прекрасные, полные любви взоры, – что она желает принадлежать ему навеки. Он принялся искать кольцо, которое подарила ему при расставании мать, дабы поднести его Олимпии как символ своей преданности, совместной зарождающейся, расцветающей жизни. Письма Клары, Лотара попались ему под руку; он равнодушно отбросил их, нашел кольцо, надел на палец и полетел к Олимпии. Уже на лестнице, уже в сенях услышал он необычайный шум, который как будто доносился из рабочего кабинета Спаланцани. Топанье, звон, толчки, глухие удары в дверь вперемежку с бранью и проклятиями. «–Пусти, пусти, бесчестный злодей! Я вложил в нее все жизнь! – Ха-ха-ха-ха! – Такого уговора не было! – Я, я сделал

глаза! – А я – заводной механизм! – Болван ты со своим механизмом! – Проклятая собака, безмозглый часовщик! – Убирайся! – Сатана! Стой! Поденщик! Каналья! – Стой! – Прочь! – Пусти!» То были голоса Спаланцани и отвратительного Коппелиуса, гремевшие и бушевавшие, заглушая друг друга. Натанаэль, охваченный неизъяснимым страхом, ворвался к ним. Профессор держал за плечи какую-то женскую фигуру, итальянец Коппола тянул ее за ноги, оба тащили и дергали в разные стороны, с яростным ожесточением стараясь завладеть ею. В несказанном ужасе отпрянул Натанаэль, узнав Олимпию; воспламененный безумным гневом, он хотел броситься к беснующимся, чтобы отнять возлюбленную; но в ту же минуту Коппола с нечеловеческой силой вырвал из рук Спаланцани фигуру и нанес ею профессору такой жестокий удар, что тот зашатался и упал навзничь на стол, заставленный фиалами, ретортами, бутылками и стеклянными цилиндрами; вся эта утварь со звоном разлетелась вдребезги. И вот Коппола взвалил на плечи фигуру и с мерзким, визгливым смехом торопливо сбежал по лестнице, так что слышно было, как отвратительно свесившиеся ноги Олимпии с деревянным стуком бились и громыхали по ступеням.

Натанаэль оцепенел – слишком явственно видел он теперь, что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз, на их месте чернели две впадины; она была безжизненной куклой. Спаланцани корчился на полу, стеклянные осколки поранили ему голову, грудь и руку, кровь текла ручьями. Но он собрал все свои силы.

– В погоню, в погоню! Что ж ты медлишь? Коппелиус, Коппелиус, он похитил у меня лучший автомат... Двадцать лет работал я над ним – я вложил в него всю жизнь; заводной механизм, речь, движение – все мое. Глаза, глаза он украл у тебя! Проклятый злодей! В погоню!.. Верни мне Олимпию... Вот тебе глаза!

И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремившие на него неподвижный взор; Спаланцани невидимой рукой схватил их и бросил в него, так что они ударились ему в грудь. И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в его душу, раздирая его мысли и чувства. «Живей-живей-живей, – кружись, огненный круг, кружись, – веселей-веселей, куколка, прекрасная куколка, – живей, – кружись-кружись!» И он бросился на профессора и сдал ему горло. Он задушил бы его, когда б на шум не сбежалось множество людей, которые ворвались в дом и, оттащив иступленного Натанаэля, спасли профессора и перевязали его раны. Зигмунд, как ни был он силен, не мог совладать с беснующимся; Натанаэль неумолчно кричал страшным голосом: «Куколка, кружись, кружись!» – и слепо бил вокруг себя кулаками. Наконец соединенными усилиями нескольких человек удалось его побороть; его повалили на пол и связали. Речь его перешла в ужасающий звериный вой. Так неистовствующего и отвратительно беснующегося Натанаэля перевезли в дом сумасшедших.

Благосклонный читатель, прежде чем я продолжу свой рассказ о том, что случилось далее с несчастным Натанаэлем, я могу – ежели ты принял некоторое участие в искусном механике и мастере автоматов Спаланцани – уверить тебя, что он совершенно излечился от своих ран. Однако ж он принужден был оставить университет, ибо история Натанаэля возбудила всеобщее внимание и все почли совершенно недозволительным обманом

вместо живого человека контрабандой вводить в рассудительные благомыслящие светские собрания за чайным столом деревянную куклу. (Олимпия с успехом посещала такие чаепития.) Юристы даже называли это особенно искусным и достойным строгого наказания подлогом, ибо он был напавлен против всего общества и подстроен с такой хитростью, что ни один человек (за исключением некоторых весьма проникательных студентов) этого не заметил, хотя теперь все покачивали головами и ссылались на различные обстоятельства, которые казались им весьма подозрительными. Но, говоря по правде, они ничего путного не обнаружили. Могло ли, к примеру, кому-нибудь показаться подозрительным, что Олимпия, по словам одного изящного чаепиетиста¹, вопреки всем приличиям, чаще чихала, чем зевала? Это, полагал щеголь, было самозаводом скрытого механизма, отчего явственно слышался треск и т. п. Профессор поэзии и красноречия, взяв щепотку табаку, захлопнул табакерку, откашлялся и сказал торжественно: «Высокочитимые господа и дамы! Неужто вы не заметили, в чем тут загвоздка? Все это аллегория – продолжение метафоры. Вы меня понимаете! *Sapienti sat*!²!» Однако ж большую часть высокочитимых господ подобные объяснения не успокоили; рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт, чтобы они, когда им читали вслух, вязали, вышивали, играли с комнатной собачкой и т. д., а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись. «Поистине ни за что нельзя поручиться», – говорили то те, то другие. Во время чаепития все невероятно зевали и никто не чихал, чтобы отвести от себя всякое подозрение. Спаланцани, как уже сказано, был принужден уехать, дабы избежать судебного следствия по делу «об обманном введении в общество людей-автоматов». Коппола тоже исчез.

Натанаэль пробудился словно от глубокого тяжкого сна; он открыл глаза и почувствовал, как неизъяснимая отрада обвеивает его нежной, небесной теплотой. Он лежал на кровати, в своей комнате, в родительском доме, Клара склонилась над ним, а неподалеку стояли его мать и Лотар.

– Наконец-то, наконец-то, возлюбленный мой Натанаэль, ты исцелился от тяжкого недуга – ты снова мой! – так говорила Клара с проникновенной сердечностью, обнимая Натанаэля.

Светлые, горячие слезы тоски и восторга хлынули у него из глаз, и он со стоном воскликнул:

– Клара!.. Моя Клара!

Зигмунд, преданно ухаживавший все это время за другом, вошел в комнату. Натанаэль протянул ему руку:

¹ В подлиннике каламбур: *Teeist*. (Прим. ред.)

² Мудрому достаточно (*лат.*).

– Верный друг и брат, ты не оставил меня!

Все следы помешательства исчезли; скоро, попечениями матери, возлюбленной, друзей, Натанаэль совсем оправился. Счастье снова посетило их дом; старый скупой дядя, от которого никогда не ждали наследства, умер, отказав матери Натанаэля помимо значительного состояния небольшое поместье в приветливой местности, неподалеку от города. Туда решили они переселиться: мать, Натанаэль, Клара, с которой он решил теперь вступить в брак, и Лотар. Натанаэль, более чем когда-либо, стал мягок и по-детски сердечен, только теперь открылась ему небесно чистая, прекрасная душа Клары. Никто не подавал и малейшего намека, который мог бы ему напомнить о прошлом. Только когда Зигмунд уезжал, Натанаэль сказал ему:

– Ей-богу, брат, я был на дурном пути, но ангел вовремя вывел меня на светлую стезю! Ах, то была Клара!

Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь, как бы глубоко ранившие душу воспоминания не вспыхнули в нем с ослепительной силой. Наступило время, когда четверо счастливых должны были переселиться в свое поместье. Около полудня они шли по городу. Совершили кое-какие покупки; высокая башня ратуши бросала на рынок исполинскую тень.

– Вот что, – сказала Клара, – а не подняться ли нам наверх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы?

Сказано – сделано. Оба, Натанаэль и Клара, взойшли на башню, мать со служанкой отправились домой, а Лотар, не большой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу. И вот влюбленные рука об руку стояли на верхней галерее башни, блуждая взорами в подернутых дымкой лесах, позади которых, как исполинские города, высились голубые горы.

– Посмотри, какой странный маленький серый куст, он словно движется прямо на нас, – сказала Клара.

Натанаэль машинально опустил руку в карман; он нашел подозрную трубку Копполы, поглядел в сторону... Перед ним была Клара! И вот кровь забилась и закипела в его жилах. Весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал: «Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!» – и с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз, но Клара в отчаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль Клары; ужасное предчувствие объяло его, опрометью бросился он наверх; дверь на вторую галерею была заперта; все громче и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспамятстве от страха и ярости, Лотар изо всех сил толкнул дверь, так что она распахнулась. Крики Клары становились все глуше: «На помощь! спасите, спасите...» Голос ее замирал. «Она погибла – ее умертвил иступленный безумец!» – кричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние придало ему силу неимоверную. Он сшиб дверь с петель. Боже праведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный столбик галереи. С быстротою молнии схватил Лотар сестру,

притянул к себе и в то же мгновение ударил беснующегося Натанаэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук свою жертву.

Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: «Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!» На его дикие вопли стал сбегаться народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса, который только что воротился в город и той же дорогой пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать безумного, но Коппелиус сказал со смехом: «Ха-ха, повремените малость, он спустится сам», – и стал глядеть вместе со всеми. Внезапно Натанаэль стал недвижим, словно оцепенев, перевесился вниз, завидел Коппелиуса и с пронзительным воплем: «А... Глаза! Хорош глаза!..» – прыгнул через перила.

Когда Натанаэль с разmozженной головой упал на мостовую, Коппелиус исчез в толпе.

Уверяют, что спустя много лет в отдаленной местности видели Клару, сидевшую перед красивым загородным домом рука об руку с приветливым мужем, а подле них играли двое резвых мальчуганов. Отсюда можно заключить, что Клара наконец обрела семейное счастье, какое отвечало ее веселому, жизнерадостному нраву и какое бы ей никогда не доставил смятенный Натанаэль.

Перевод А. Морозова

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Привидение



...Нас сидело в дилижансе четверо: отставной капитан, начальник отделения, Ириной Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости, изредка принимались спорить, но ненадолго; Ириной Модестович говорил без умолка; все – мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка – все подавало ему повод к разговору; на радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первую роль. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, – и преспокойно дремал под говор его тоненького голоса. Другие товарищи скуки ради слушали его не без внимания, а Ириней Модестовичу только того и надо.

– Что это за замок? – спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. – Вы, верно, знаете про него какую-нибудь курьезную историю, – прибавил он, обращаясь к Ириней Модестовичу.

– Я про него знаю, – отвечал Ириной Модестович, – точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов, то есть что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль. Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами; ведь это все равно – была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части так же рассказывают свои истории; только у них нет моей откровенности.

В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине... Не воображайте тут ничего грешного: соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц; дом ее был похож на все ***ские дома: три-четыре комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной... но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, – было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши: пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один: в длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее согласившись. Наши занятия были самые обыкновенные: мы пили чай и играли в бостон; иногда перелистывали журналы; но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме; это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась

никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околоте, ни о поведении своих слуг; не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть; не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь; не сердилась, когда кто из нас в продолжение полугода не являлся в ее гостиную и даже забывал дни ее именин или рождения; не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество ***ских дам нестерпимым; не была ни ханжа, ни суеверна; не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о чем-то говорили; не приходила в ужас, когда вы были противного с нею мнения; не требовала от вас никаких жертвований; не усаживала насильно за карты или за фортепьяно, – понимала терпимость во всем ее значении; в ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно; словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в ***ских обществах и которого сущность до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различие в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом.

– Позвольте вас остановить, – сказал начальник отделения. – Как это, – будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями? Нет, помилуйте, – мы сами бываем в наилучших компаниях... я с вами поспорю. Как это можно! Как это можно!..

– Говорят, – отвечал Иринеи Модестович, – что где обращение хозяйки проще, там гостям просторнее и спокойнее и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения...

– И я того же мнения, – прибавил отставной капитан, – терпеть не могу всех этих вычур! Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись; тоска, да и только! То ли дело, как сойдешься с своим братом: мундир долой, бутылку рома на стол – и пошла потеха...

– Нет, воля ваша, – возразил начальник отделения, – не могу с вами согласиться! Что это такое – простота? Простота! Для простоты довольно своего дома; но в свете приятно показать свое обращение, свое уменье жить с людьми, уменье каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный...

Иринеи Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средство, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор.

– Однако ж этак, – сказал я, – мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Иринеи Модестович?..

Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою: начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля; а капитан – что Иринеи Модестович одного с ним мнения.

Иринеи Модестович продолжал:

– Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли

только в вист, а два другие только в бостон, одни играли в большую, другие в маленькую – и партии не могли состояться.

Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь с изморозью лился ливнем, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной кроме меня сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговорами.

Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях.

– Так, я и ждал этого! – вскрикнул начальник отделения. – Без привидений у него не обойдется...

– Нет ничего мудреного! – возразил Ириной Модестович. – Эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание; наш ум, изнуренный прозой жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни.

Почтенный чиновник значительно кивнул головою, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириной Модестович продолжал:

– Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде: о людях, являвшихся после смерти; о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже; о танцующих стульях и о прочем тому подобном.

Один из собеседников во все продолжение этого рассказа хранил глубокое молчание и лишь исподтишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин, уже весьма пожилых лет, был закоснелый волтерьянец старого века; он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «*Épître a Urania*»¹ или из «*Discours en vers*»² Вольтера и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться; любимая его поговорка была: «Я верю только в то, что дважды два четыре».

Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливою просьбою рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал:

«Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней: я в этом пошел по батюшке; ему вздумало однажды явиться привидение – и привидение во всем порядке: с бледным лицом, с меланхолическим взглядом; но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадаете в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю; но не Думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшной истории. Слушайте ж. Я вам расскажу историю истинную; но бьюсь об заклад, что у вас волосы встанут дыбом.

Лет тридцать тому назад, – я тогда только что еще вступил в службу, – наш полк остановился в одном местечке; мы были в резерве; носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца

¹ «Послание к Урании» (франц.).

² «Рассуждение в стихах» (франц.).

не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтоб подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, премилый, веселой женщины и большой говоруньи. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости, вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка, на небольшом возвышении, находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками – словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые, при нынешнем упадке вкуса, опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом.

– Кому принадлежит этот кондитерский пирог? – спросил я однажды у моей хозяйки.

– Моей приятельнице, графине ***, – отвечала она. – Она премилая женщина; вам бы надобно познакомиться с нею... Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива, – продолжала хозяйка, – много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека; но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава; она страстно любила молодого человека и наконец не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шуму наделало это происшествие. Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпою ласкателей, привыкшая, в продолжение всей своей жизни, к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом; с одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой – она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза; письма ее оставались без ответа; она была в совершенном отчаянии; ничто ее не утешало; ни любовь мужа, ни уверения друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло шесть месяцев в непрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время – она была на себя непохожа. Наконец она сделалась беременною. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль: они чувствуют живее; всякая мысль, всякое слово тревожит их в тысячу раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимою; эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, – сказала она, – но я брошусь к ногам матушки». Тщетно мы хотели остановить ее; тщетно мы советовали подождать родин и тогда, вместе с ребенком, предстать раздраженной графине; тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые, – наши слова не подействовали. Робость превозмогла, и однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени.

Старая графиня была женщина странная; она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее: незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам.

Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а наконец ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери; ее не тронуло ее положение; ее не коснулось материнское чувство – эгоизм торжествовал. «Прочь! – вскричала она. – Я не знаю тебя: проклинаю тебя!..» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти, но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностью произнесла она прерывающимся голосом: «Кляните меня... но пощадите моего ребенка». – «Проклинаю тебя, – повторила раздраженная графиня, – и твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнию!» Бедная Мальвина упала на пол замертво.

Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто...

С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целью жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставила свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу; но донныне старая графиня почитает себя в долгу перед своею дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграла они процесс в несколько миллионов. Это дало им средство украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там не найдете: и английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной и теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады – рай, одним словом! Балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине: вы будете приняты с восхищением...

Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых в продолжение полугода все наслаждения мира ограничивались брасткою попойкой в курной избе!

– А не худое дело! – заметил капитан, поглаживая усы.

На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашею хозяйкою и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни: прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы; в каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами; все прихоти туалета; слуги, которые ходили

на цыпочках и угадывали малейшее желание; каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за сорок, была свежа, жива и вертлява, как пятнадцатилетняя девочка. Многие из наших почли за долг отпустить ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью, жизнью в этом доме. От нас требовали только одного: есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались как сыр в масле. Чрез несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини – славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства.

Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест; собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкований о завтрашнем дне (ибо мы почти как домашние принимали участие во всех хозяйственных хлопотах) зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату, за недостатком места, занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие: заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехались в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с десяти часов утра и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в пять часов надобно было садиться на коня. Но, сказать правду, к концу дня мы были измучены донельзя и не без удовольствия заметили, что к первому часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто; мы хотели также разойтись по спальням; но молодая графиня, для которой двадцать четыре часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но наконец принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню.

«О, – сказала графиня, – что вам брать пример с этого лентяя! Надобно проучить его за его леность! Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам! Пойдемте за мною!»

Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда, при бледном свете ночной лампы, он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели! Впросонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» – но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось,

хотело обхватить его своими распростертыми руками. В испуге ли, или еще не совсем пробужденный, молодой человек взвел курок, раздался выстрел...

«Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» – вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней, подняли простыню... Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее: она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось; по крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь да стоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, бог знает, что теперь об этом выдумали; а дело было просто, как вы видите». И рассказчик засмеялся.

В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большою точностию, – сказал он, – рассказали это происшествие; я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно: а именно, что графиня здравствует до сих пор и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке».

Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал: «Об этом происшествии много было толков; но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли чрез две недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты.

Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный, холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор; но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Чрез несколько дней мы узнали, что наш наместник над привидениями занемог, и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспременно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели, – и вообразите себе, – прибавил Ириней Модестович трагическим голосом, – ровно чрез две недели в гостиной Марьи Сергеевны сделалось одним гостем меньше!

– Странно! – заметил капитан, – очень странно! Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей.

– Тут нет ничего удивительного, – сказал он важным голосом, – многое бывает в человеке от мысленности, так, от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя; год прошел, другой, – день и ночь роется в архиве; сжалился я наконец над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту

комнату, где он занимался, – нет его; смотрю: он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточки между кипами и держит в руках номер.

«Что с вами? – закричал я ему. – Сойдите сюда». Как вы думаете, что он мне отвечал? «Не могу, Иван Григорьевич, никак не могу: я решенное дело!» И начальник отделения захохотал; у Ирины Модестовича навернулись слезы.

– Ваша история, – проговорил он, – печальнее моей.

Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении и наконец, как будто очнувшись, спросил у Ирины Модестовича:

– А что, у вашей Марьи Сергеевны, пили ли пунш?

– Нет, – отвечал Ириной Модестович.

– Странно, – проговорил капитан, очень странно!

Между тем дилижанс остановился; мы вышли.

– Неужели в самом деле рассказчик-то умер? – спросил я.

– Я никогда этого не говорил, – отвечал быстро Ириной Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая, по своему обыкновению...

Н. В. ГОГОЛЬ



I

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а двадцать один пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарасказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там все не так: и люди не те, и церквей Христовых нет... Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровой. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодежи и дивчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, – как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв икон вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети; а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик.

– Это он! Это он! – кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу.

– Колдун показался снова! – кричали матери, хватая на руки детей своих.

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

– Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! – И, зашипев и шелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик.

Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом.

– Что это за колдун? – спрашивали молодые и небывалые люди.

– Беда будет! – говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили равно, и наверно никто не мог рассказать про него.

На двор выкатили бочку меда и не мало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодежи, лихое козачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело восвояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошеное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлеба; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II

Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеєю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чашу сосен.

Посередине Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопча; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксендзы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на не застланною полотном нарядную сукню серою пылью валится вода.

Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою.

– Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася в печаль?

– Я не в печаль вдалася, пан мой Данило! Меня устроили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы, –

говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.

Пан Данило ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы.

– Не так еще страшно, что колдун, – говорил он, – как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот-дьявол! Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов – это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...

– Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..

– Молчи, баба! – с сердцем сказал Данило. – С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку! – Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколовши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. – Пугает меня колдуном! – продолжал пан Данило. – Козак, слава богу, ни чертей, ни ксендзов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? Наша жена – люлька да острая сабля!

Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.

Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины.

– Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь! – сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим.

– Мы слышим крики, и кажется, с той стороны, – Разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно устали очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. «Душно мне! душно!» – простонал он диким, нечеловечьим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос, борода по колена и еще длиннее костяные когти. Еще диче закричал он: «Душно мне!» – и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пятки, пальцы с

длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости...

Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо поглядел Бурульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.

– Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет! – говорил он, указывая по сторонам. – Это колдун хочет устроить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына! – При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам. – Что, Иван, ты не боишься колдунов? «Нет, говори, тятя, я козак». Полно же, перестань плакать! Домой приедем! Приедем домой – мать покормит кашею, положит тебя спать в люльку, запоеет:

Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу.
Вороженькам в расправу!

Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! Не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любимые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля: то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III

Хутор пана Данила между двумя горами, в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид как и у простых Козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверх идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; немало зато и вызубрены. Глядя на них,

пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покоем ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья и, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, выменянную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выпрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся! — говорил Данило, не оставляя своего дела. — Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю.

Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули.

— Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело.

— Думай себе что хочешь, — сказал Данило, — думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну, — не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в божью церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.

— Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно: от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.

— Я готов, — сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

— Данило! — закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней. — Вспомни, безумный, погляди, на кого ты подымаешь руку! Батько, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!

— Жена! — крикнул грозно пан Данило, — ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. С плачем мила Катерина в особую светлицу, кинулась в

постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. «Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!» И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец – подается пан Данило. Наступает пан Данило – подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки.

– Благодарю тебя, боже! – сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрелил пан Данило – не попал. Нацелился отец... Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел... Пошатнулся пан Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жапана.

– Нет! – закричал он, – я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет; еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу! – Данило протянул руку.

– Данило! – закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина. – Не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоём каменном теле человеческое чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с весельем, когда услышат, как нечестивые звери ляхи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздуть шапкою огонь, взвихрившийся под ним!

– Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны; как вихорь будешь ты летать перед козаками, с бархатною шапочною на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого – винюся. Что же ты не даешь руки? – говорил Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

– Отец! – вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. – Не будь неумолим, прости Данила: он не огорчит больше тебя!

– Для тебя только, моя дочь, прощаю! – отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами. Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна.

– Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

– Какой сон, моя любая пани Катерина?

– Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, – снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...

– Что же он говорил, моя золотая Катерина?

– Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!» Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась.

– Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засек. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов.

– А отец знает об этом?

– Сидит у меня на шее твой отец! Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развесялился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! Слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у брестовских жидов. Эй, хлопец! – крикнул пан Данило. – Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! Экая пропасть! Мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А? Как тебе кажется?

– Бог знает, что говоришь ты, пан Данило?

– Чудно, пани! – продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака, – поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?

– Попробовал только, пан!

– Лжешь, собачий сын! Вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Их, козаки! Что за лихой народ! Все готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?

– Вот давно! А в прошедший...

– Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкий игумен влазит в дверь! – проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

– А что ж это, моя дочь! – сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными камнями, – солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

– Готов обед, пан отец, сейчас поставим! Вынимай горшок с галушками! – сказала пани Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную

посуду. – Пстой, лучше я сама выну, – продолжала Катерина, – а ты позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов в синих и желтых жупанах.

– Не люблю я этих галушек! – сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку, – никакого вкуса нет!

«Знаю, что тебе лучше жидовская лапша», – подумал про себя Данило.

– Отчего же, тесть, – продолжал он вслух, – ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетьману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божи едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами.

– Я не люблю свинины! – сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

– Для чего же не любить свинины? – сказал Данило. – Одни турки и жида не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо. Но не далеким небом и не синим лесом любитесь пан Данило; глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но все тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропщет; ему все не мило; все переменялось около него; тихо враждует он с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный холопец.

– Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку да ступай за мною!

– Ты идешь? – спросила пани Катерина.

– Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, все ли в порядке.

– Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был, – так это происходило живо.

– С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!

– Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями.

– Пусть будет так! – сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку, закрыл окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора, промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо почти все прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то все бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы.

– Это тесть! – проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. – Зачем и куда ему идти в эту пору? Стецько! Не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец. – Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдававшемуся мысу. – А! Вот куда! – сказал пан Данило. – Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло.

– Да, верно, не в другое место, пан Данило! Иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка.

– Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый человек; не так он и делал все, как православный.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдававшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки.

– Что я думаю долго! – сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб. – Стой тут, малый! Я полезу на дуб; с него прямо можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко все еще светило. Присевши на сук, возле самого окна, уцепился он рукою за дерево и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но все странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без скрипа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белою скатертью. «Это он, это тесть!» Пан Данило опустилсЯ немного ниже и прижался крепче к дереву.

Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть – и вдруг по всей комнате разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-розового переливались, ныряли, словно в голубом море, и тянулись слоями, будто на марморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы.

Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо – и лицо стало переменяться:

нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, – и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. «Правдив сон твой, Катерина!» – подумал Бурульбаш.

Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее переменяться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам, и вдруг пропал, и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блесит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темно-синее небо, и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядят страшные лица; на лежанке... но сгустившийся туман покрыл все, и стало опять темно. И опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачную головою своею: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! Это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.

– Где ты была? – спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

– О! Зачем ты меня вызвал? – тихо простонала она. – Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец! – Тут она вперила в колдуна бледные очи, – зачем ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.

– Разве я тебя просил говорить про это? – И воздушная красавица задрожала. – Где теперь пани твоя?

– Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?

– Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? – спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

– Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это! Бедная Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», – подумал пан Данило; но все еще не смел пошевелиться.

– Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?

– Ты опять за старое! – грозно прервал колдун. – Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

– О, ты чудовище, а не отец мой! – простонала она. – Нет, не будет потвоему. Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог может заставлять ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок Страшный суд! Если б ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит клятвопреступных и неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

– Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? – закричал колдун.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. «Страшно, страшно!» – говорил он про себя, почувствовал какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо все было засеяно звездами.

V

– Как хорошо ты сделал, что разбудил меня! – говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. – Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне казалось, что я умираю...

– Какой же сон, уж не этот ли? – И стал Бурульбаш рассказывать жене своей все им виденное.

– Ты как это узнал, мой муж? – спросила, изумившись, Катерина. – Но нет, многое мне неизвестно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!

– И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, – он, жена, святой человек, – что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я

бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

– Данило! – сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая, – я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Не верно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына?..

– Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём.

– Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он – не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы – не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!

VI

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебщут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун: им судия бог; сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной Русской земли – продать католикам украинский народ и выгнать христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет; это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозловна, как голубка, не умиласердится ли над отцом... Но никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его.

Вот кто-то показался по дороге – это козак! И тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдаль спускается... Развеивается зеленый кунтуш... горит на голове золотой кораблик... Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко...

– Катерина! дочь! умиласердись, подай милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун?

День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, – верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... Кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина.

– Дочь, Христа ради! И свирепые волчята не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего! – Она не слушает и идет. – Дочь, ради несчастной матери!.. – Она остановилась. – Приди принять последнее мое слово!

– Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?

– Катерина! Мне близок конец: я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь.

– Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя.

– Катерина! Меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: все сильнее и сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет...

– Этой казни я не властна умалить, – сказала Катерина, отвернувшись.

– Катерина! Пстой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покался и стал святым.

– Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу? – сказала Катерина, – мне ли, слабой женщине, об этом подумать!

– Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возьму рыбы в рот! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья и умру; а все добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.

– Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей.

– Я не боюсь цепей, – говорил он. – Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи! – сказал он, выходя на середину. – Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила на может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю.

– Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь, – сказала Катерина, остановившись пред дверью, – и, вместо того чтобы покаяться, станешь опять братом черту?

– Нет, Катерина, мне недолго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?

Замки загремели.

– Прощай! Храни тебя бог милосердый, дитя мое! – сказал колдун, поцеловав ее.

– Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!.. – говорила Катерина. Но его уже не было.

– Я выпустила его, – сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. – Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу! – И, зарывав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. – Но я спасла душу, – сказала она тихо. – Я сделала богоугодное дело. Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! Муж! – вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII

– Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько! – услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала и, протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодной водою.

– Где я? – говорила Катерина, поднимаясь и оглядываясь. – Передо мною шумит Днепр, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?

– Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила.

– Где же ключ? – сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. – Я его не вижу.

– Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое.

– Поглядеть?.. Баба, я пропала! – вскрикнула Катерина.

– Пусть бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!

– Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? Он убежал, – сказал пан Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.

– Его выпустил кто-нибудь, мой любый муж? – проговорила она, дрожа.

– Выпустил, правда твоя; но выпустил черт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что черт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков и я бы узнал... я бы и казни ему не нашел!

– А если бы я?.. – невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

– Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее.

VIII

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмеваются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксендз вместе. Только и ксендз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа: пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Паны беснуются и отпускают шутики: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на Русской земле и от татар. Видно, уже ей бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал пан Данило. — И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя.

«О мой ненаглядный муж! Приникни ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы», — подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

— Слушай, жена моя! — сказал Данило, — не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от бога счастья, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли издевался над нами, слабыми женами? А теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить.

— Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! Как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьман сидел на вороном коне, Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетьман — и все стало как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал воспоминать нам прежние дела в сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доньне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие

каменя шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство наше все переменяло на польский обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О время, время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

– Чем будем принимать гостей, пан? С луговой стороны идут ляхи! – сказал, вошедши в хату, Стецько.

– Знаю, зачем идут они, – вымолвил Данило, подымаясь с места. – Седлайте, мои верные слуги, коней! Надевайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

– Э, да тут есть с кем переведаться! – сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотой сбруе. – Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!

И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи, летают пули, ржут и топчут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Все перемешалось. Но козак чувствует, где друг, где недруг; прошумит ли пуля – валится лихой седок с коня; свистнет сабля – катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи.

Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьется грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей, и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! Гуляй, козак! Тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны! Топчи под ноги золото и камень! Коли, козак! гуляй, козак! Но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редет вокруг его толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устает пан Данило: сбивает с седла длинным копьём своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило собирается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнался коня прямо к нему... Козак, на гибель идешь!.. Мушкет гремит – и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану, – лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: «Прощай, Стецько! Скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и

вы его, мои верные слуги!» – и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! Приподымись! Погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? Видно, не горячи мои слезы, невмочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоём вороном конике, громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! Где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! Засыпьте мне очи землею! Надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!»

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

Х

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибрежным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! Они толпятся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает – и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, униженный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, селятся закрыть его хотя длинною тенью своею, – напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человеческое око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и

молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир – страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпровожая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватая его за стремя, ловит удила, и ломает над ним руки, и заливается горячими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из Козаков осмелился гулять в челне в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает как мух людей.

Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Немало поплатились лхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрипнувши дверью, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! Уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами и высох весь, а все еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошеное, незванное явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы – все незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Все пропало.

XI

– Спокой себя, моя любимая сестра! – говорил старый есаул Горобець. – Сны редко говорят правду.

– Приляг, сестрица! – говорила молодая его невестка. – Я позову старуху, ворожею; против ее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе.

– Ничего не бойся! – говорил сын его, хватаясь за саблю, – никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его». Наконец она сказала:

– Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю твое дитя, Катерина, – кричал он, – если не выйдешь за меня замуж!..» – И, зарывав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:

– Пусть попробует он, окаянный антихрист, прийти сюда; отведаст, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит, – говорил он, подымая вверх прозорливые очи, – не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? Выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! Никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось.

– По отцу пойдет, – сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему, – еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вместе, и мало погода уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. «Он убит, он зарезан!» – кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

ХII

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минув и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область, и громадою стали в виде подковы между галицким и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человека. Чуден и вид их: не задорное ли море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромождили собою землю? Ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где

отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет немалолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимо они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы.

Но кто среди ночи, блещут или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? Какой богатырь, с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы чернеют; очи закрыты; ресницы опущены – он спит. И, сонный, держит повод; и за ним сидит на том же коне младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? – кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и взъехал на Кривая. Горы этой нет выше между Карпатом; как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

XIII

«Тс... тише, баба! Не стучи так, дитя мое заснуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят, как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой и сын, кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодою – это совсем нетрудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...» И, проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется наземь, или вылетит из мира.

Печально стояла старая няня, и слезами налились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. «А у меня монисто есть, парубки! – сказала она, наконец остановившись, – а у вас нет!.. Где муж мой? – вскричала она вдруг, выхватив из-за пояса турецкий кинжал. – О! Это не такой нож, какой нужно. – При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. – У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? Разве он не знает, что пора

заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла... – И, не dokonчив, чудно засмеялася. – Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня!.. Слушайте, слушайте!» И вместо слов начала она петь песню:

Біжить возок кривавенький;
У тім возку козак лежить,
Постріляний, порубаний.
В правій ручці дротик держить,
З того дроту кривця біжить;
Біжить ріка кривавая.
Над річкою явор стоїть,
Над явором ворон криче.
За козаком мати плаче.
Не плачь, мати, не журися!
Бо вже твій син оженився,
Та взяв жінку паняночку,
В чистом полі земляночку,
І без дверець, без оконєць.
Та вже пісні вийшов конець.
Танцювала рыба з раком...
А хто мене не полюбить, трясця его матерь!

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей, и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее – ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещенные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмеваются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек! уста ее – лед, постель – холодная вода; она зашекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегаёт поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина все слушала и не спускала с него очей.

«Она отойдет! – думали хлопцы, глядя на нее. – Этот гость вылечит ее! Она уже слушает, как разумная!»

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою...»

Страшно вонзила в него очи Катерина. «А! – вскрикнула она, – это он! Это отец!» – и кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся – и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою.

Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

– А то что такое? – допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи.

– То Карпатские горы! – говорили старые люди, – меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там.

Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незванное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуместь, отчего в нем все смутилось при таком виде, и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и – чудо, засмеялся! Белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что все со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

Одинок сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыл святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сыпался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

— Отец, молись! Молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! Не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!

— Нет, нет! Ты смеешься, не говори... Я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он — и убил святого схимника.

Что-то тяжело застонало, и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие, сухие руки с длинными ногтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Все Чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева все нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Каневу, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось, то уже недосыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал отчего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном

величии всадник... Он силится остановиться, крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что все в нем замерло, что недвижный всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец и глядел как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один, всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю; немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много поопрокидывалось везде хат. И много задавило народую.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшайший проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого: то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то близ моря гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

XVI

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетманщину, за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним костями, летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понутив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

– Пойдите, – сказал старец, – я вам запою про одно давнее дело.

Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел:

– За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. «Гляди, Иван, все, что ни добудешь, – все пополам: когда кому

веселье – веселье и другому; когда кому горе – горе и обоим; когда кому добыча – пополам добычу; когда кто в полон попадет – другой продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в полон». И правда, все, что ни доставали козаки, все делили пополам; угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам.

Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а все не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что, если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на все войско. «Пойдем, брат, ловить пашу!» – сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. «Бравый молодец!» – сказал король Степан и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает все войско; и приказал отвезти ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил все поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки – они все едут. Младенец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По-над самым провалом дорога – два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. «Боже ты мой праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад... Брат мой милый! Коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! Чем безвинный младенец виноват, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?» Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро все добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

Как умер Петро, призвал бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек! – сказал бог. – Иване! Не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!» Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец сказал: «Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю и пропавшее даром в земле. Всходу нет – никто и не узнает, что кинуто было семя.

Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! и от каждого его злодейства чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах и, терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться и оттого терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею!

И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы ни жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, и грыз бы самого себя, а кости его росли бы, чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отомстить, и не мочь отомстить».

«Страшна казнь, тобою выдуманная, человек! – сказал бог. – Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!» И то все так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чувствует, как лежащий под землею мертвец растет, глохнет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю...»

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

О. БАЛЬЗАК



Зимним вечером дон Хуан Бельвидеро угощал одного из князей д'Эсте в своем пышном феррарском палаццо. В ту эпоху праздник превращался в изумительное зрелище, устраивать которое мог лишь неслыханный богач или могущественный князь. Семеро женщин вели веселую, приятную беседу вокруг стола, на котором горели благовонные свечи; по сторонам беломраморные изваяния выделялись на красной облицовке стен и контрастировали с богатыми турецкими коврами. Одетые в атлас, сверкающие золотом, украшенные драгоценными камнями – менее яркими все же, чем их глаза, – всем своим видом эти семеро женщин повествовали о страстях, одинаково сильных, но столь же разнообразных, сколь разнообразна была их красота. Их слова, их понятия сходились между собой; но выражение лица, взгляд, какой-нибудь жест или оттенок в голосе придавали их речам беспутный, сладострастный, меланхолический или задорный характер.

Казалось, одна говорила: «Моя красота согреет оледенелое сердце старика».

Другая: «Мне приятно лежать на подушках и опьяняться мыслью о тех, кто меня обожает».

Третья, еще новичок на этих празднествах, краснела: «В глубине сердца слышу голос совести! – как бы говорила она. – Я католичка и боюсь ада. Но вас я так люблю, так люблю, что ради вас готова пожертвовать и вечным спасением».

Четвертая, опустошая кубок хиосского вина, восклицала: «Да здравствует веселье! С каждой зарей обновляется моя жизнь. Не помня прошлого, каждый вечер, еще пьяная после вчерашних поединков, я снова до дна пью блаженную жизнь, полную любви!»

Женщина, сидевшая возле Бельвидеро, метала на него пламя своих очей. Она безмолвствовала. «Мне не понадобятся *bravi*¹, чтобы убить любовника, ежели он меня покинет!» Она смеялась, но ее рука судорожно ломала чеканную золотую бомбоньерку.

– Когда станешь ты герцогом? – спрашивала шестая у князя, сверкая хищной улыбкой и очами, полными вакхического бреда.

– Когда же твой отец умрет? – со смехом говорила седьмая, пленительная, задорным движением кидая в дон Хуана букет. Эта невинная девушка привыкла играть всем священным.

– Ах! Не говорите мне о нем! – воскликнул молодой красавец дон Хуан Бельвидеро. – На свете есть только один бессмертный отец, и, на беду мою, достался он именно мне!

¹ Наемные убийцы (*итал.*).

Крик ужаса вырвался у семи феррарских блудниц, у друзей дон Хуана и самого князя. Лет через двести, при Людовике XV, франты расхохотались бы над подобной выходкой. Но, может быть, в начале оргии еще попросту не совсем замутились души? Несмотря на пламя свечей, на страстные возгласы, на блеск золотых и серебряных ваз, на хмельное вино, несмотря на то, что взорам являлись восхитительнейшие женщины, может быть, сохранялась в глубине этих сердец чуточка стыда перед людским и божеским судом – до тех пор, пока оргия не затопит ее потоками искрометного вина! Однако цветы уже измялись и глаза стали шалыми, – опьянели уже и сандалии, как выражается Рабле. И вот в тот миг, когда господствовало молчание, открылась дверь, и, как на пиршестве Валтасара, явился сам дух божий в образе старого седого слуги с колеблющейся походкой и насупленными бровями; он вошел уныло, и от взгляда его поблекли венки, кубки рдеющего вина, пирамиды плодов, блеск празднества, пурпуровый румянец изумленных лиц и яркие ткани подушек, служивших опорой белым женским плечам; и весь этот сумасбродный праздник подернулся флером, когда слуга глухим голосом произнес мрачные слова:

– Ваша светлость, батюшка ваш умирает...

Дон Хуан поднялся, послав гостям молчаливый привет, который можно было истолковать так: «Простите, подобные происшествия случаются не каждый день».

Нередко смерть отца застаёт молодых людей среди праздника жизни, на лоне безумной оргии. Смерть столь же прихотлива, как своенравная блудница; но смерть более верна и еще никого не обманула.

Закрыв за собой дверь залы и направившись по длинной галерее, темной и холодной, дон Хуан пытался принять надлежащую осанку: ведь, войдя в роль сына, он вместе с салфеткой отбросил свою веселость. Чернела ночь. Молчаливый слуга, провожавший молодого человека к спальне умирающего, настолько слабо освещал путь своему хозяину, что смерть, найдя себе помощников в стуже, безмолвии и мраке, а может быть и в упадке сил после опьянения, успела навеять на душу расточителя некоторые размышления: вся его жизнь возникла перед ним, и он стал задумчив, как подсудимый, которого ведут в трибунал.

Отец дона Хуана, Бартоломео Бельвидеро, девяностолетний старик, большую часть своей жизни потратил на торговые дела. Изъездив вдоль и поперек страны Востока, прославленные своими талисманами, он приобрел там не только несметные богатства, но и познания, по его словам, более драгоценные, чем золото и бриллианты, которыми он уже не интересовался. «Для меня каждый зуб дороже рубина, а сила дороже знания!» – улыбаясь, восклицал он иногда. Снисходительному отцу приятно было слушать, как дон Хуан рассказывал о своих юношеских проделках, и он шутливо говаривал, осыпая сына золотом: «Дитя мое, занимайся только глупостями, забавляйся, мой сын!» То был единственный случай, когда старик любит юношей; с отеческой любовью взирая на блистательную жизнь сына, он забывал о своей дряхлости. В прошлом, когда Бартоломео достиг шестидесятилетнего возраста, он влюбился в ангела кротости и красоты. Дон Хуан оказался единственным плодом этой поздней и кратковременной любви. Уже пятнадцать лет оплакивал старик кончину милой своей Хуаны.

Многочисленные его слуги и сын объясняли стариковским горем странные выходки, которые он усвоил. Удалившись в наименее благоустроенное крыло дворца, Бартоломео покидал его лишь в самых редких случаях, и даже дон Хуан не смел проникнуть в его апартаменты без особого разрешения. Когда же добровольный анахорет проходил по двору или по улицам Феррары, то казалось, что он чего-то ищет; он ступал задумчиво, нерешительно, озабоченно, подобно человеку, борющемуся с какой-нибудь мыслью или воспоминанием. Меж тем как молодой человек давал пышные празднества и палатки оглашались радостными кликами, а конские копыта стучали на дворе и пажы ссорились, играя в кости на ступеньках лестницы, Бартоломео за целый день съедал лишь семь унций хлеба и пил одну лишь воду. Иногда полагалось подавать ему птицу, но лишь для того, чтобы он мог бросить кости своему верному товарищу – черному пуделю. На шум он никогда не жаловался. Если во время болезни звук рога и лай собак нарушали его сон, он ограничивался словами: «А! Это дон Хуан возвращается с охоты!» Никогда еще не встречалось на свете отца столь покладистого и снисходительного; поэтому, привыкнув бесцеремонно обращаться с ним, юный Бельвидеро приобрел все недостатки избалованного ребенка; как блудница с престарелым любовником, держал он себя с отцом, улыбкою добиваясь прощения за наглость, торгуя своей нежностью и позволяя себя любить. Мысленно восстанавливая картины юных своих годов, дон Хуан пришел к выводу, что доброта его отца безупречна. И чувствуя, пока он шел по галерее, как в глубине сердца рождаются угрызения совести, он почти прощал отцу, что тот зажил на свете. Он вновь обрел в себе сыновнюю почтительность, как вор готовится стать честным человеком, когда предвидит возможность пожить на припрятанные миллионы. Вскоре молодой человек достиг высоких и холодных зал, из которых состояли апартаменты его отца. Вдоволь надышавшись сыростью, затхлостью, запахом старых ковровых обоев и покрытых пылью и паутиной шкафов, он очутился в жалкой спальне старика, перед тошнотворно пахнущей постелью, возле полуугасшего очага. На столике готической формы стояла лампа, время от времени она освещала ложе вспышками света, то ярче, то слабее, каждый раз по-новому обрисовывая лицо старика. Сквозь плохо прикрытые окна свистел холодный ветер, и снег хлестал по стеклам с глухим шумом. Эта картина создавала такой резкий контраст празднику, только что покинутому дон Хуаном, что он не мог сдержать дрожи. А затем его пронизал холод, когда он подошел к постели и при сильной вспышке огня, раздуваемого порывом ветра, обозначилась голова отца: уже черты лица его осунулись, а кожа, плотно обтянувшая кости, приобрела страшный зеленоватый цвет, еще более заметный из-за белизны подушки, на которой покоилась голова старика; из полукрытого и беззубого рта, судорожно сведенного болью, вырывались вздохи, сливавшиеся с воем метели. Даже в последние мгновения жизни его лицо сияло невероятным могуществом. Высшие духовные силы боролись со смертью. Глубоко впавшие от болезни глаза сохраняли необычайную живость. Своим предсмертным взглядом Бартоломео как бы старался убить врага, усевшегося у его постели. Острый и холодный взор был еще страшнее из-за того, что голова оставалась неподвижной, напоминая череп, лежащий на столе у медика. Под складками одеяла ясно вырисовывалось тело старика, такое же неподвижное. Все умерло,

кроме глаз. Невнятные звуки, исходившие из его уст, носили как бы механический характер. Дон Хуан немножко устыдился, что подходит к ложу умирающего отца, не сняв с груди букета, брошенного ему блудницей, принося с собой благоухание праздника и запах вина.

– Ты веселился! – воскликнул отец, приметив сына.

В ту же минуту легкий и чистый голос певицы, которая пела на радость гостям, поддержанный аккордами ее виолы, возобладали над воем урагана и донесся до комнаты умирающего... Дон Хуану хотелось бы заглушить этот чудовищный ответ на вопрос отца.

Бартоломео сказал:

– Я не сержусь на тебя, дитя мое.

От этих нежных слов не по себе стало дон Хуану, который не мог простить отцу его разящей как кинжал доброты.

– О, как совестно мне, отец! – сказал он лицемерно.

– Бедняжка Хуанино, – глухо продолжал умирающий, – я всегда был с тобою так мягок, что тебе незачем желать моей смерти!

– О! – воскликнул дон Хуан. – Я отдал бы часть своей собственной жизни, только бы вам вернуть жизнь! «Что мне стоит это сказать! – подумал расточитель. – Ведь это все равно, что дарить любовнице целый мир!»

Едва он так подумал, залаял старый пудель. От его умного лая задрожал дон Хуан – казалось, пес проник в его мысли.

– Я знал, сын мой, что могу рассчитывать на тебя! – воскликнул умирающий. – Я не умру. Да, ты будешь доволен. Я останусь жить, но это не будет стоить ни одного дня твоей жизни.

«Он бредит», – решил дон Хуан.

Потом добавил вслух:

Да, мой обожаемый отец, вы проживете еще столько, сколько проживу я, ибо ваш образ непрестанно будет пребывать в моем сердце.

– Не о такой жизни идет речь, – сказал старый вельможа, собираясь с силами, чтобы приподняться на ложе, ибо в нем возникло вдруг подозрение – одно из тех, что рождаются лишь в миг смерти. – Выслушай меня, мой сын, – продолжал он голосом, ослабевшим от этого последнего усилия, – я отказался бы от жизни так же неохотно, как ты – от любовниц, вин, коней, соколов, собак и золота...

«Разумеется», – подумал сын, становясь на колени у постели и целуя мертвенно-бледную руку Бартоломео.

– Но, отец мой, дорогой отец, – продолжал он вслух, – нужно покориться воле божьей.

– Бог – это я! – пробормотал в ответ старик.

– Не богохульствуйте! – воскликнул юноша, видя, какое грозное выражение появилось на лице старика. – Остерегайтесь, вы удостоились последнего миропомазания, и я не мог бы утешиться, если бы вы умерли без покаяния.

– Выслушай же меня! – воскликнул умирающий со скрежетом зубным.

Дон Хуан умолк. Воцарилось ужасное молчание. Сквозь глухой свист ветра еще доносились аккорды виолы и прелестный голос, слабые, как утренняя заря. Умирающий улыбнулся.

— Спасибо тебе, что ты пригласил певиц, что ты привел музыкантов! Праздник, юные и прекрасные женщины, черные волосы и белая кожа! Все наслаждения жизни. Вели им остаться, я оживу...

«Бред все усиливается», — подумал дон Хуан.

— Я знаю средство воскреснуть. Поищи в ящике стола, открой его, нажав пружинку, прикрытую грифом.

— Открыл, отец.

— Возьми флакон из горного хрусталя.

— Он в моих руках.

— Двадцать лет потратил я на... — В эту минуту старик почувствовал приближение конца и собрал все силы, чтобы произнести: — Как только я испущу последний вздох, тотчас же ты натрешь меня всей этой жидкостью, и я воскресну.

— Здесь ее не очень много, — ответил юноша.

Хотя Бартоломео уже не мог говорить, он сохранил способность слышать и видеть; в ответ на слова сына голова старика с ужасной быстротой повернулась к дон Хуану, и шея застыла в этом повороте, как у мраморной статуи, которая по мысли скульптора обречена смотреть в сторону; широко открытые глаза приобрели жуткую неподвижность. Он умер, умер, потеряв свою единственную, последнюю иллюзию. Ища убежище в сердце сына, он обрел могилу глубже той, которую выкапывают для покойников. И вот ужас разматал его волосы, а глаза, казалось, говорили. То был отец, в ярости вызывавший из гробницы, чтобы потребовать у бога отпущения!

— Эге! Да он кончился! — воскликнул дон Хуан.

Спеша поднести к свету лампы таинственный хрустальный сосуд, подобно пьянице, который смотрит на свет бутылку в конце трапезы, он и не заметил, как потускнели глаза отца. Раскрыв пасть, пес поглядывал то на мертвого хозяина, то на эликсир, и точно так же сын смотрел поочередно на отца и на флакон. От лампы лился мерцающий свет. Все вокруг молчало, виола умолкла. Бельвидеро вздрогнул, ему показалось, что отец шевельнулся. Испуганный застывшим выражением глаз-обвинителей, он закрыл отцу веки; так закрывают ставни, если они стучат на ветру в осеннюю ночь. Дон Хуан стоял прямо, неподвижно, погруженный в целый мир мыслей. Резкий звук, подобный скрипу ржавой пружины, внезапно нарушил тишину. Захваченный врасплох, дон Хуан едва не выронил флакон. Вдруг его с ног до головы обдало потом, который был холоднее, чем сталь кинжала. Раскрашенный деревянный петух поднялся над часами и трижды пропел. То был искусный механизм, будивший ученых, когда полагалось им садиться за занятия. Уже порозовели стекла от зари. Десять часов провел дон Хуан в размышлениях. Старинные часы вернее, чем он, исполняли свой долг по отношению к Бартоломео. Их механизм состоял из деревяшек, блоков, веревок и колесиков, а в дон Хуане был механизм, именуемый «человеческое сердце». Чтобы не рисковать потерей таинственной жидкости, скептик дон Хуан вновь спрятал ее в ящик готического столика. В эту торжественную минуту до него донесся из галереи глухой шум, неясные голоса, подавленный смех, легкие шаги, шуршание шелка — словом, слышно было, что приближается веселая компания. Дверь открылась, вошел князь, друзья дон Хуана, семь блудниц и певицы, образуя беспорядочную группу, как танцоры на балу, врасплох захваченные

утренними лучами, когда солнце борется с бледными огоньками свечей. Они все явились, чтобы, как это полагается, выразить наследнику свое соболезнование.

– Ого! Бедняжка дон Хуан, должно быть, принимает эту смерть всерьез? – сказал князь на ухо Брамбилле.

– Но ведь его отец был в самом деле очень добр, – ответила она.

Между тем от ночных дум на лице дон Хуана появилось такое странное выражение, что вся компания умолкла. Мужчины стояли неподвижно, а женщины, хотя их губы иссохли от вина, а щеки, как мрамор, покрылись розовыми пятнами от поцелуев, преклонили колена и принялись молиться. Дон Хуан невольно содрогнулся при виде того, как роскошь, радость, улыбки, песни, юность, красота, власть – все, олицетворяющее жизнь, пало ниц перед смертью. Но в восхитительной Италии беспутство и религия сочетались друг с другом так легко, что религия становилась беспутством и беспутство – религией! Князь сочувственно пожал руку дон Хуану; потом на всех лицах мелькнула одна и та же полупечальная, полуравнодушная гримаса, и фантазмагорическое видение исчезло, зала опустела. То был образ самой жизни. Сходя по лестнице, князь сказал Ривабарелле:

– Странно! Кто подумал бы, что дон Хуан мог похвастаться безбожием? Он любит отца.

– Обратили вы внимание на черного пса? – спросила Брамбилла.

– Богатствам его счету нет теперь, – со вздохом заметила Бьянка Каватолино.

– Велика важность! – воскликнула горделивая Варонезе, та самая, которая сломала бомбоньерку.

– Велика ли важность? – воскликнул герцог. – Благодаря своим червонцам он стал таким же могущественным властелином, как я!

Сначала дон Хуан, колеблясь между тысячью мыслей, не знал, какое решение принять. Но советчиками его сделались скопленные отцом сокровища, и, когда он вернулся вечером в комнату покойника, душа его была уже чревата ужасающим эгоизмом. В зале слуги подбирали украшения для того пышного ложа, на котором покойной светлости предстояло быть выставленной напоказ, среди множества пылающих свечей, чтобы вся Феррара могла любоваться этим замечательным зрелищем. Дон Хуан подал знак, и челядь остановилась, онемев и дрожа.

– Оставьте меня здесь одного, – сказал он странно изменившимся голосом, – вы войдете сюда потом, когда я выйду отсюда.

Лишь только шаги старого слуги, ушедшего последним, замерли вдалеке на каменных плитах пола, дон Хуан поспешно запер дверь и, уверившись в том, что никого, кроме него, здесь нет, воскликнул:

– Попытаемся!

Тело Бартоломео покоилось на длинном столе. Чтобы спрятать от взоров отвратительный труп дряхлого и худого, как скелет, старика, балзамировщики покрыли тело сукном, оставив открытой одну только голову. Это подобие мумии лежало посреди комнат, и хоть мягкое сукно неясно обрисовывало очертания тела, видно было, какое оно угловатое, жесткое и тощее. Лицо уже покрывалось большими лиловатыми пятнами, напоминавшими о том, что необходимо поскорее закончить балзамирование.

Хотя дон Хуан и вооружен был скептицизмом, но он дрожал, откупоривая волшебный хрустальный сосуд. Когда он приблизился к голове, то был принужден передохнуть минуту, так его лихорадило. Но его уже в эти юные годы до мозга костей развратили нравы беспутного двора; и вот размышления, достойные герцога Урбинского, придали ему храбрости, поддержанной к тому же острым любопытством; казалось, что сам демон шепнул ему слова, отозвавшиеся в сердце: «Смочи ему глаз!» Он взял полотенце и, осторожно обмакнув самый кончик его в драгоценную жидкость, легонько провел им по правому веку трупа. Глаз открылся.

– Ага! – произнес дон Хуан, крепко сжимая в руке флакон, как мы во сне хватаемся за сук, поддерживающий нас над пропастью.

Он увидел глаз, ясный, как у ребенка, живой глаз мертвой головы, свет дрожал в нем среди свежей влаги; и, окаймленный прекрасными черными ресницами, он светился подобно тем одиноким огонькам, что зимним вечером видит путник в пустынном поле. Сверкающий глаз, казалось, готов был броситься на дон Хуана, он мыслил, обвинял, проклинал, угрожал, судил, говорил; он кричал, он впивался в дон Хуана. Он был обуреваем всеми страстями человеческими. Он выражал то нежнейшую мольбу, то царственный гнев, то любовь девушки, умоляющей палачей о помиловании, – словно это был глубокий взгляд, который бросает людям человек, поднимаясь на последнюю ступеньку эшафота. Столько светилось жизни в этом обломке жизни, что дон Хуан в ужасе отступил; он прошелся по комнате, не смея взглянуть на глаз, видневшийся ему повсюду: на полу, на потолке и на стенных коврах. Всю комнату усеяли искры, полные огня, жизни, разума. Повсюду сверкали глаза и преследовали его, как затравленного зверя.

– Он прожил бы еще сто лет! – невольно воскликнул дон Хуан в ту минуту, когда дьявольская сила опять привлекла его к ложу отца и он вглядывался в эту светлую искорку.

Вдруг веко, в ответ на его слова, закрылось и открылось вновь, как то бывает у женщины, выражающей согласие. Если бы дон Хуан услышал «да!», он не так испугался бы.

«Как быть?» – подумал он.

Он храбро протянул руку, чтобы закрыть белеющее веко. Усилия его оказались тщетными.

«Раздавить глаз? Не будет ли это отцеубийство?» – задал он себе вопрос.

«Да», – ответил глаз, подмигнув с жуткой насмешливостью.

– Ага! – воскликнул дон Хуан. – Здесь какое-то колдовство!

Он подошел ближе, чтобы раздавить глаз. Крупная слеза потекла по морщинистой щеке трупа и упала на ладонь Бельвидеро.

– Какая жаркая слеза! – воскликнул он, садясь. Этот поединок его утомил, как будто он, наподобие Иакова, боролся с ангелом. Наконец он поднялся, говоря: – Только бы не было крови.

Потом, собрав в себе все мужество, необходимое для подлости, он, не глядя, раздавил глаз при помощи полотенца. Нежданно раздался чей-то ужасный стон. Взвыв, издох пудель.

«Неужели он был сообщником этой тайны?» – подумал дон Хуан, глядя на верную собаку.

Дон Хуан Бельвидеро прослыл почтительным сыном. Он воздвиг на могиле отца памятник из белого мрамора и поручил выполнение фигур знаменитейшим ваятелям того времени. Полное спокойствие он обрел лишь в тот день, когда статуя отца, склонившая колена перед изображении Религии, огромной тяжестью навалила на могилу, где сын похоронил единственный укор совести, тревоживший его сердце в минуты телесной усталости. Произведя подсчет несметным богатствам, которые скопил старый знаток Востока, дон Хуан стал скупцом: ведь ему нужны были деньги на целые две жизни человеческие. Его глубоко испытующий взгляд проник в сущность общественной жизни и тем лучше постиг мир, что видел его сквозь замогильный мрак. Он стал исследовать людей и вещи, чтобы раз навсегда разделаться с прошлым, о котором представление дает история, с настоящим, образ которого дает закон, с будущим, тайну которого открывают религии. Душу и материю бросил он в тигель, ничего в нем не обнаружил и с тех пор сделался истинным дон Хуаном!

Став владыкой всех житейских иллюзий, молодой, красивый, он ринулся в жизнь, презирая свет и овладевая светом. Его счастье не могло ограничиться мещанским благополучием, которое довольствуется неизменной вареной говядиной, грелкой – на зиму, лампой – на ночь и новыми туфлями – каждые три месяца. Нет, он постиг смысл бытия! Так обезьяна хватается кокосовый орех и без промедления ловко освобождает плод от грубой шелухи, чтобы заняться сладкой мякотью. Поэзия и высшие восторги страсти были уже не для него. Он не повторял ошибок тех властителей, которые, вообразив, что маленькие душонки верят в души великие, решают разминывать высокие мысли будущего на мелкую монету нашей повседневной жизни. Конечно, и он мог, подобно им, ступая по земле, поднимать голову до небес, но предпочитал усесться и осушать поцелуями нежные женские губы, свежие и благоуханные; где он ни проходил, повсюду он, подобно Смерти, все бесстыдно пожирал, требуя себе любви-обладания, любви восточной, с долгими легкими наслаждениями. В женщинах он любил только женщину, и ирония стала его обычной манерой. Когда его возлюбленные превращали ложе любви в средство для взлета на небо, чтобы забыться в пьянящем экстазе, дон Хуан следовал за ними с той серьезностью, простодушием и откровенностью, какую умеет напустить на себя немецкий студент. Но он говорил Я, когда его возлюбленная безумно и страстно твердила Мы! Он удивительно искусно позволял женщине себя увлечь. Он настолько владел собой, что внушал ей, будто бы дрожит перед нею, как школьник, который, впервые в своей жизни танцуя с молодой девушкой, спрашивает ее: «Любите ли вы танцы?» Но он умел и зарычать, когда это было нужно, и вытащить из ножен шпагу, и разбить статую командора. Его простота заключала в себе издевательство, а слезы – усмешку; умел он и заплакать в любую минуту, вроде той женщины, которая говорит мужу: «Заведи мне экипаж, иначе я умру от чахотки». Для негоциантов мир – это тюк товаров или пачка кредитных билетов, для большинства молодых людей – женщина, для иных женщин – мужчина, для остряков – салон, кружок, квартал, город; для дон Хуана вселенная – это он сам! Образец изящества и благородства, образец чарующего ума, он готов был причалить лодку к любому берегу; но когда его везли, он плыл только туда, куда сам хотел. Чем дольше он жил, тем больше во всем сомневался. Изучая людей, он

видел, что часто храбрость не что иное, как безрассудство, благоразумие – трусость, великодушие – хитрость, справедливость – преступление, доброта – простоватость, честность – предусмотрительность; люди действительно честные, добрые, справедливые, великодушные, рассудительные и храбрые, словно по воле какого-то рока, нисколько не пользовались уважением.

«Какая же все это холодная шутка! – решил он. – Она не может исходить от бога».

И тогда, отказавшись от лучшего мира, он уже не обнажал головы, если перед ним произносили священное имя, и статуи святых в церквях стал считать только произведениями искусства. Однако, отлично понимая механизм человеческого общества, он никогда не вступал в открытую борьбу с предрассудками, ибо он не мог противостоять силе палача; но он изящно и остроумно обходил общественные законы, как это отлично изображено в сцене с господином Диманшем. И в самом деле, он сделался типом в духе мольеровского Дон Жуана, гетевского Фауста, байроновского Манфреда и матюреновского Мельмота. Великие образы, начертанные величайшими талантами Европы, образы, для которых никогда не будет недостатка в аккордах Моцарта, а может быть и в лире Россини! Эти грозные образы, увековеченные существующим в человеке злым началом, переходят в копиях из века в век: то этот тип становится посредником между людьми, воплотившись в Мирабо, то действует исподволь по способу Бонапарта, то преследует вселенную иронией, как божественный Рабле, или, чаще, смеется над людьми, вместо того чтобы издеваться над порядками, как маршал де Ришелье, а еще чаще глумится и над людьми, и над порядками, как знаменитейший из наших посланников. Но глубокий гений дон Хуана Бельвидеро предвосхитил все эти гении вместе. Он надо всем смеялся. Жизнь его стала издевательством над людьми, порядками, установлениями и идеями. А что касается вечности, то он однажды непринужденно беседовал полчаса с папой Юлием II и улыбаясь, заключил беседу такими словами:

– Если уж безусловно надо выбирать, я предпочел бы верить в бога, а не в дьявола: могущество, соединенное с добротой, все же обещает больше выгод, чем дух зла.

– Да, но богу угодно, чтобы в этом мире люди каялись...

– Вечно вы думаете о своих индульгенциях, – ответил Бельвидеро. – Для раскаяния в грехах моей первой жизни у меня имеется про запас еще целая жизнь.

– Ах, если ты так понимаешь старость, – воскликнул папа, – то, чего доброго, будешь причислен к лику святых...

– Все может стать, раз вы достигли папского престола.

И они отправились посмотреть на рабочих, воздвигающих огромную базилику св. Петра.

– Святой Петр – гениальный человек, вручивший нам двойную власть, – сказал папа дон Хуану. – Он достоин этого памятника. Но иногда ночью мне думается, что какой-нибудь новый потомок смоет это все губкою и придется все начинать сначала...

Дон Хуан и папа расхохотались, они поняли друг друга. Человек глупый пошел бы на следующий день развлечься с Юлием II у Рафаэля или на прелестной вилле «Мадама», но Бельвидеро пошел в собор на папскую

службу, чтобы еще укрепиться в своих сомнениях. Во время кутежа папа мог бы сам себя опровергнуть и заняться комментариями к Апокалипсису.

Впрочем, мы пересказываем эту легенду не для того, чтобы снабдить будущих историков материалами о жизни дон Хуана, наша цель — доказать честным людям, что Бельвидеро вовсе не погиб в единоборстве с каменной статуей, как это изображают иные литографы. Достигнув шестидесятилетнего возраста, дон Хуан Бельвидеро обосновался в Испании. Здесь на старости лет он взял себе в жены молодую, пленительную андалузку. Но он рассчитал, что не стоит быть хорошим отцом, хорошим супругом. Он замечал, что нас нежно любят только женщины, на которых мы мало обращаем внимания. Воспитанная в правилах религии старухой теткой в глуши Андалузии, в замке неподалеку от Сан-Лукара, донья Эльвира была сама преданность, само очарование. Дон Хуан предугадывал в девушке одну из тех женщин, которые, прежде чем уступить страсти, долго борются с нею, и поэтому он надеялся сберечь ее верность до самой смерти. Эта его шутка была задумана всерьез, как своего рода партия в шахматы; он приберег ее на последние дни жизни. Наученный всеми ошибками своего отца Бартоломео, дон Хуан решил, что в старости все его поведение должно содействовать успешному развитию драмы, которой суждено было разыграться на его смертном ложе. Поэтому большую часть богатств своих он схоронил в подвалах феррарского палаццо, редко им посещаемого. А другую половину своего состояния он поместил в пожизненную ренту, чтобы жена и дети были заинтересованы в длительности его жизни, — хитрость, к которой надлежало бы прибегнуть и его отцу; но в этой макиавеллической спекуляции особой надобности не оказалось. Юный Филипп Бельвидеро, его сын, вырос в такой же мере религиозным испанцем, в какой отец его был нечестив, — как бы оправдывая пословицу: у скупого отца сын расточитель. Духовником герцогини де Бельвидеро и Филиппа дон Хуан избрал сан-лукарского аббата. Этот церковнослужитель, человек святой жизни, отличался высоким ростом, удивительной пропорциональностью телосложения, прекрасными черными глазами и напоминал Тиверия чертами лица, изможденного от постов и бледного от постоянных истязаний плоти; как всем отшельникам, ему были знакомы повседневные искушения. Может быть, старый вельможа рассчитывал, что успеет еще присоединить к своим деяниям и убийство монаха, прежде чем истечет срок его первой жизни. Но то ли аббат обнаружил силу воли не- меньшую, чем у дон Хуана, то ли донья Эльвира оказалась благоразумнее и добродетельнее, чем полагается быть испанкам, во всяком случае дон Хуану пришлось проводить последние дни у себя дома в мире и тишине, как старому деревенскому попу. Иногда он с удовольствием находил у сына и жены погрешности в отношении религии и властно требовал, чтобы они выполняли все обязанности, налагаемые Римом на верных сынов церкви. Словом, он чувствовал себя совершенно счастливым, слушая, как галантный сан-лукарский аббат, донья Эльвира и Филипп обсуждают какой-нибудь вопрос совести. Но сколь чрезмерно ни заботился о своей особе сеньор дон Хуан Бельвидеро, настали дни дряхлости, а вместе со старческими болезнями пришла пора беспомощным стоном, тем более жалким, чем ярче были воспоминания о кипучей юности и отданных сладострастью зрелых годах. Человек, который издевательски внушал другим веру в законы и принципы, им самим предаваемые осмеянию, засыпал вечером, произнося:

«Быть может!» Образец хорошего светского тона, герцог, не знавший устали в оргиях, великолепный в волокитстве, встречавший неизменное расположение женщин, чьи сердца он так же легко подчинял своей прихоти, как мужик стигает ивовый прут, — этот гений не мог избежать неизлечимых мокрот, докучливого воспаления седалищного нерва, жестокой подагры. Он наблюдал, как зубы у него исчезают один за другим, — так по окончании вечеринки одна за другой уходят белоснежные и расфранченные дамы и зал остается пустым и неприбранным. Наконец стали трястись его дерзкие руки, стали подгибаться стройные ноги, и однажды вечером апоплексический удар сдавил ему шею своими ледяными, крючковатыми пальцами. Начиная с этого рокового дня он сделался угрюм и жесток. Он усомнился в преданности сына и жены, порой утверждая, что их трогательные, деликатные, столь щедрые и нежные заботы объясняются только пожизненной рентой, в которую вложил он свое состояние. Тогда Эльвира и Филипп проливали слезы и удваивали уход за хитрым стариком, который, придавая нежность своему надтреснутому голосу, говорил им:

— Друзья мои, милая жена, вы меня, конечно, простите? Я вас мучаю немножко! Увы! Великий боже! Ты избрал меня своим орудием, чтобы испытать два эти небесные создания! Их утешеньем нужно бы мне быть, а я стал их бичом...

Таким способом приковывал он их к изголовью своего ложа и за какой-нибудь час, пуская в ход все новые сокровища своего обаяния и напускной нежности, заставлял их забывать целые месяцы бессердечных капризов. То была отеческая система, увенчавшаяся несравнимо более удачными результатами, чем та, которую когда-то к нему самому применял его отец. Наконец болезнь достигла такой степени, что, укладывая его в постель, приходилось с ним возиться, точно с фелугой, когда она входит в узкий фарватер. А затем настал день смерти. Блестящий скептик, у которого среди ужаснейшего разрушения уцелел один только разум, теперь переходил в руки то к врачу, то к духовнику, внушавшим ему одинаково мало симпатий. Но он встречал их равнодушно. За покровом будущего не искрился ли ему свет? На завесе, свинцовой для других, прозрачной для него, легкими тенями играли восхитительные утехы его юности.

Однажды, в прекрасный летний вечер, дон Хуан почувствовал приближение смерти. Изумительною чистотой сияло небо Испании, апельсиновые деревья благоухали, трепещущий и яркий свет струили звезды, — казалось, вся природа дает верный залог воскрешения; и послушный и набожный сын смотрел на него любовно и почтительно. К одиннадцати часам отец пожелал остаться наедине с этим чистосердечным существом.

— Филипп, — сказал он голосом настолько нежным и ласковым, что юноша вздрогнул и заплакал от счастья; суровый отец еще никогда так не произносил: «Филипп». — Выслушай меня, сын мой, — продолжал умирающий. — Я великий грешник. Оттого всю свою жизнь я думал о смерти. В былые годы я дружил с великим папой Юлием Вторым. Преславный глава церкви опасался, как бы крайняя моя вспыльчивость не привела меня к смертному греху перед самой кончиной, уже после миропомазания, и он подарил мне флакон со святой водой, некогда брызнувшей в пустыне из скалы. Я сохранил в тайне это расхищение церковных сокровищ, но мне разрешено было открыть тайну

своему сыну, *in articulo mortis*¹. Ты найдешь фиал в ящике готического стола, который всегда стоит у изголовья моей постели... Драгоценный хрусталь еще окажет услугу тебе, возлюбленный Филипп. Клянись мне вечным спасением, что в точности исполнишь мою волю!

Филипп взглянул на отца. Дон Хуан умел различать выражения чувств человеческих и мог почитать в мире, вполне доверившись подобному взгляду, меж тем как его отец умер в отчаянии, поняв по взгляду своего сына, что довериться ему нельзя.

– Другого отца был бы ты достоин, – продолжал дон Хуан. – Отважусь признаться, дитя мое, что, когда почтенный сан-лукарский аббат провожал меня в иной мир последним причастием, я думал, что несовместимы две столь великие власти, как власть дьявола и бога...

– О! Отец!

– ...и рассуждал: когда сатана будет заключать мир, то непременно условием поставит прощение своих приверженцев, иначе он оказался бы самым жалким существом. Мысль об этом меня преследует. Значит, я пойду в ад, сын мой, если ты не исполнишь моей воли.

– О! Отец! Скорей же сообщите мне вашу волю!

– Едва я закрою глаза, быть может, через несколько минут, – продолжал дон Хуан, – ты поднимешь мое тело, еще не остывшее, и положишь его на стол, здесь посреди комнаты. Потом погасишь лампу; света звезд тебе будет достаточно. Ты снимешь с меня одежду и, читая «Отче наш» и «Богородицу», а в то же время душу свою устремляя к богу, ты тщательно смочишь этой святой водой мои глаза, губы, всю голову, затем постепенно все части тела; но, дорогой мой сын, могущество божье так безмерно, что не удивляйся ничему!

В этот миг, чувствуя приближение смерти, дон Хуан добавил ужасным голосом:

– Смотри не оброни флакона!

Затем он тихо скончался на руках у сына, пролившего обильные слезы на ироническое и мертвенно-бледное его лицо. Было около полуночи, когда дон Филипп Бельвидеро положил труп отца на стол. Поцеловав его грозный лоб и седеющие волосы, он погасил лампу. При мягком свете луны, причудливые отблески которой ложились на поля, благочестивый Филипп неясно различал тело отца, белеющее в темноте. Юноша смочил полотенце жидкостью и с молитвой, среди глубокого молчания, послушно совершил омовение священной для него головы. Он явственно слышал какие-то странные похрустывания, но приписывал их ветерку, играющему верхушками деревьев. Когда же он смочил правую руку, то ощутил, как мощно охватила его шею молодая и сильная рука – рука отца! Он испустил раздражающий крик и выпустил флакон, который разбился. Жидкость поднялась паром. Сбежалась вся челядь замка с канделябрами в руках. Крик поверг их в ужас и изумление, как если бы сама вселенная содрогнулась при трубном звуке Страшного суда. В одно мгновение комната наполнилась народом. Трепещущая от страха толпа увидела, что дон Филипп лежит без чувств, а его держит могучая рука отца, сдавившая ему шею. А затем присутствующие увидели нечто сверхъестественное: лицо дона Хуана было юно и прекрасно, как у Антиноя, –

¹ В смертный час (*лат.*).

черные волосы, блестящие глаза, алый рот; но голова ужасающе шевелилась, будучи не в силах привести в движение связанный с нею костяк.

Старый слуга воскликнул:

– Чудо!

Донья Эльвира, при своем благочестии, не могла допустить мысли о чудесах магии и послала за сан-лукарским аббатом. Когда приор собственными глазами убедился в чуде, то, будучи человеком неглупым, решил извлечь из него пользу: о чем же и заботиться аббату, как не об умножении доходов? Он тотчас объявил, что дон Хуан безусловно будет причислен к лику святых, и назначил торжественную церемонию в монастыре, которому, по его словам, отныне предстояло именоваться монастырем святого Хуана Лукарского. При этих словах покойник скорчил шутовскую гримасу.

Всем известно, до чего испанцы любят подобного рода торжества, а потому нетрудно поверить в то, какими религиозными феериями отпраздновало сан-лукарское аббатство перенесение тела блаженного дона Хуана Бельвидеро в церковь. Через несколько дней после смерти знаменитого вельможи из деревни в деревню на пятьдесят с лишком миль вокруг Сан-Лукара стремительно распространилось известие о чуде его частичного воскресения, и сразу же необыкновенное множество зевак потянулось по всем дорогам; они подходили со всех сторон, приманиваемые пением «Тебе, бога, хвалим» при свете факелов. Построенное маврами изумительное здание старинной мечети в сан-лукарском монастыре, своды которой уже три века оглашались именем Иисуса Христа, а не Аллаха, не могло вместить толпу, сбежавшуюся поглядеть на церемонию. Как муравьи, собрались идальго в бархатных плащах, вооруженные своими славными шпагами, и стали вокруг колонн, ибо места не находилось, чтобы преклонить колена, которые больше нигде ни пред чем не преклонялись. Очаровательные крестьянки, в коротеньких расшитых юбочках, которые обрисовывали их заманчивые формы, приходили под руку с седовласыми старцами. Рядом с расфранченными старухами сверкали глазами молодые люди. Были здесь и парочки, трепещущие от удовольствия, и сгорающие от любопытства невесты, приведенные женихами, и вчерашние новобрачные, дети, боязливо взявшиеся за руки. Вся эта толпа, привлекающая богатством красок, поражающая контрастами, убранная цветами и пестрая, неслышно двигалась среди ночного безмолвия. Распахнулись широкие церковные двери. Запоздавшие остались на паперти и издали, через три открытых портала, смотрели на зрелище, о котором лишь слабое понятие дали бы воздушные декорации современных опер. Святоши и грешники, спеша заручиться милостями новоявленного святого, зажгли в его честь множество свечей по всей обширной церкви – корыстные приношения, придававшие монументальному зданию волшебный вид. Чернеющие аркады, колонны и капители, глубокие ниши часовен, сверкающие золотом и серебром, галереи, мавританская резьба, тончайшие детали этих тонких узоров – все вырисовывалось благодаря чрезвычайному обилию света, – так в пылающем костре возникают прихотливые фигуры. Над этим океаном огней господствовал в глубине храма золоченый алтарь, где возвышался главный престол, который своим сиянием мог поспорить с восходящим солнцем. В самом деле, сверкание золотых светильников, серебряных канделябров, хоругвей, свисающих кистей, статуй святых и их

voto¹ бледнело перед ракою, в которой положен был дон Хуан. Тело безбожника сверкало драгоценными камнями, цветами, хрусталем, бриллиантами, золотом, перьями, белоснежными, как крылья серафима, и заняло на престоле то место, которое отведено изображению Христа. Вокруг горели бесчисленные свечи, распространяя волнами сияние. Почтенный санлуккарский аббат, облекшись в одежды священнослужителя, в митре, изукрашенной дорогими самоцветами, в ризе и с золотым крестом, восседал, как владыка алтаря, в царственно пышном кресле, среди клира бесстрастных седовласых старцев, одетых в тонкие стихари и окружавших его, как на картинах святители группами стоят вокруг творца. Староста певчих и должностные лица капитула, убранные блестящими знаками своего церковного тщеславия, двигались среди облаков ладана, подобно светильям, свершающим свой ход по небесному своду. Когда наступил час великого прославления, колокола разбудили окрестное эхо, и многолюдное собрание кинуло господу первый клик хвалы, которым начинается «Тебе, бога, хвалим». Какая возвышенность в этом клике! Голосам чистейшим и нежным, голосам женщин, молящихся в экстазе, мощно и величаво вторили мужчины. Тысячи громких голосов не мог покрыть орган, как ни гудели его трубы. И лишь пронзительные ноты, выводимые хором мальчиков, да плавные возгласы первых басов, вызывая прелестные представления, напоминая о детстве и о силе, выделялись среди восхитительного концерта голосов человеческих, слитых в едином чувстве любви:

– Тебе, бога, хвалим!

Из собора, где чернели коленопреклоненные мужские и женские фигуры, несло пение, подобное вдруг сверкнувшему в ночи свету, и как будто раскаты грома нарушали молчание. Голоса поднялись ввысь вместе с облаками ладана, набросившими прозрачное голубоватое покрывало на фантастические чудеса архитектуры. Повсюду богатство, благоухание, свет и мелодичные звуки! В то мгновение, когда музыка любви и признательности вознеслась к престолу, дон Хуан, чересчур вежливый, чтобы пренебречь благодарностью, чересчур умный, чтобы не понять этого глумления, разразился в ответ ужасающим хохотом и небрежно развалился в раке. Но так как дьявол внушил ему мысль, что он рискует быть принятым за самого обыкновенного человека, за одного из святых, за какого-нибудь Бонифация или за Панталеоне, он нарушил мелодию воем, к которому присоединилась тысяча адских голосов.

Земля благословляла, небо проклидало.

Дрогнули древние основания церкви.

– Тебе, бога, хвалим! – гласило собрание.

– Идите вы ко всем чертям, скоты! Все бог да бог! Carajos demonios², животные, дурачье вы все, вместе с вашим дряхлым богом!

И вырвался поток проклятий, подобно пылающей лаве при низвержении Везувия.

– Бог Саваоф!.. Саваоф! – воскликнули верующие.

– Вы оскорбляете величие ада! – ответил дон Хуан, заскрежетав зубами.

¹ Приношения по обету (лат.).

² Испанское ругательство.

Вскоре ожившая рука высунулась из раки и жестом, полным отчаяния и иронии, пригрозила собравшимся.

– Святой благословляет нас! – сказали старухи, дети и женихи с невестами, люди доверчивые.

Вот так мы ошибаемся, поклоняясь кому-нибудь. Выдающийся человек глумится над теми, кто его восхваляет, а иногда восхваляет тех, над кем глумится в глубине души.

Когда аббат, простершись перед престолом, пел: «Святой Иоанне, моли бога о нас!» – до него явственно донеслось:

– O coglione¹.

– Что там происходит? – воскликнул заместитель приора, заметив какое-то движение в раке.

– Святой беснуется, – ответил аббат.

Тогда ожившая голова с силой оторвалась от мертвого тела и упала на желтый череп священнослужителя.

– Вспомни о донье Эльвире! – крикнула голова, вонзая зубы в голову аббата.

Тот испустил ужасный крик, прервавший церемонию. Сбежались все священники.

– Дурак, вот и говори, что бог существует! – раздался голос в ту минуту, когда аббат, укушенный в мозг, выпускал последнее дыхание.

Париж, октябрь 1830 г.

Перевод Б. Грифцова

¹ Дурак (*итал.*).

П. МЕРИМЕ



«Да будет милостива и благосклонна статуя, – воскликнул я, – будучи столь мужественной!»

Лукиан. Любитель врак

Я спускался с последних предгорий Канигу и, хотя солнце уже село, различал на равнине перед собою домики маленького городка Илля, куда я направлялся.

– Вы, наверное, знаете, – обратился я к каталонцу, служившему мне со вчерашнего дня проводником, – где живет господин де Пейрорад?

– Еще бы не знать! – воскликнул он. – Мне его дом известен не хуже моего собственного, и, если бы сейчас не было так темно, я бы его вам показал. Это лучший дом во всем Илле. Да, у господина де Пейрорада есть денежки. А девушка, на которой он женит сына, еще богаче, чем он сам.

– А скоро будет свадьба? – спросил я.

– Совсем скоро. Пожалуй, уж и скрипачей заказали. Может случиться, сегодня, а не то завтра или послезавтра. Свадьбу будут справлять в Пюигариге. Невеста – дочь тамошнего хозяина. Славный будет праздничек!

Меня направил к г-ну Пейрораду мой друг г-н де П. По его словам, это был большой знаток древностей и человек необычайно услужливый. Он, конечно, с удовольствием покажет мне все остатки старины на десять миль в окружности. И я рассчитывал на его помощь при осмотре окрестностей Илля, богатых, как мне было известно, античными и средневековыми памятниками. Но эта свадьба, о которой я услышал сейчас впервые, грозила расстроить все мои планы.

«Я окажусь непрошеным гостем», – подумал я. Но меня уже там ожидали. Г-н де П. предупредил о моем приезде, и мне нельзя было не явиться.

– Держу пари, сударь, на сигарету, – сказал мой проводник, когда мы уже спустились на равнину, – что я угадал, ради чего вы идете к господину де Пейрораду.

– Но это не так уж трудно угадать, – ответил я, давая ему сигару. – В такой поздний час, как теперь, после шести миль перехода через Канигу, первая мысль должна быть об ужине.

– Пожалуй. Ну а завтра?... Знаете, я готов об заклад побиться, что вы пришли в Илля, чтобы поглядеть на идола. Я догадался об этом, еще когда увидел, что вы рисуете портреты святых в Серабоне.

– Идола! Какого идола?

Это слово возбудило мое любопытство.

– Как! Вам не рассказывали в Перпиньяне, что господин де Пейрорад вырыл из земли идола?

– Вы, верно, хотите сказать – терракотовую статую из глины?

– Как бы не так! Из настоящей меди. Из нее можно было понаделать немало монет, потому что весом она не уступит церковному колоколу. Нам пришлось-таки покопаться под оливковым деревом, чтобы достать ее.

– Значит, и вы были там, когда ее вырыли?

– Да, сударь. Недели две тому назад господин де Пейрорад велел мне и Жану Колю выкорчевать старое оливковое дерево, замерзшее прошлой зимой, потому что тогда, как вы помните, стояли большие холода. Так вот, начали мы с ним работать, и вдруг, когда Жан Коль, очень рьяно копавший, ударил разок изо всех сил киркой, я услышал: «бимм» – словно стукнули по колоколу. «Что бы это было такое?» – спросил я себя. Мы стали копать все глубже и глубже, и вот показалась черная рука, похожая на руку мертвеца, лезущего из земли. Меня разобрал страх. Иду я к господину де Пейрораду и говорю: «Хозяин, там, под оливковым деревом, зарыты мертвецы. Надо бы сбегать за священником». – «Какие такие мертвецы?» – говорит он. Пришел он на это место и, едва завидел руку, закричал: «Антик! Антик!» Можно было подумать, что он сыскал клад. Засуетился, схватил сам кирку в руки и принялся работать не хуже нас с Жаном.

– И что же вы в конце концов нашли?

Огромную черную женщину, с позволения сказать, совсем почти голую, из чистой меди. Господин де Пейрорад сказал нам, что это идол времен язычества... времен Карла Великого, что ли...

– Понимаю... Это, наверно, бронзовая мадонна из какого-нибудь разрушенного монастыря.

– Мадонна? Ну уж нет!.. Я бы сразу узнал мадонну. Говорят вам, это идол; это видно по выражению ее лица. Уж одно то, как она глядит на вас в упор своими большими белыми глазами... словно сверлит взглядом. Невольно опускаешь глаза, когда смотришь на нее.

– Белые глаза? Должно быть, они вставлены в бронзу. Вероятно, какая-нибудь римская статуя.

– Вот-вот, именно римская. Господин де Пейрорад говорит, что римская. Теперь я вижу: вы тоже человек ученый, как и он.

– Хорошо она сохранилась? Нет отбитых частей?

– О, все в порядке! Она выглядит еще лучше и красивее, чем крашенный гипсовый бюст Луи-Филиппа, что стоит в мэрии. А все-таки лицо этого идола мне не нравится. У него недоброе выражение... да и сама она злая.

– Злая? Что же плохого она вам сделала?

– Мне-то ничего, а вот вы послушайте, что было. Принялись мы вчетвером тащить ее, и господин де Пейрорад, милейший человек, тоже тянул веревку, хотя силы у него не больше, чем у цыпленка. С большим трудом поставили мы ее на ноги. Я уже взял черепок, чтобы подложить под нее, как вдруг – трах! – она падает всей своей тяжестью навзничь. «Берегись!» – кричу я, но слишком поздно, потому что Жан Коль не успел убрать свою ногу...

– И статую ушибла его?

– Переломила начисто ему, бедному, ногу, словно щепку! Ну и разозлился же я, черт побери! Я хотел разбить идола своим заступом, да господин Пейрорад удержал меня. Он дал денег Жану Колю, а Жан до сих пор лежит в постели, хотя дело было две недели назад, и доктор говорит, что он никогда

уже не будет владеть этой ногой, как здоровою. А жаль, потому что он был у нас лучшим бегуном и, после сына господина де Пейрорада, самым ловким игроком в мяч. Да, господин Альфонс де Пейрорад сильно был огорчен, потому что он любил играть с ним. Приятно было смотреть, как они раз за разом отбивали мячи – паф, паф! – и все с воздуха.

Беседуя таким образом, мы вошли в Илль, и вскоре я предстал перед г-ном де Пейрорадом. Это был маленький, еще очень живой и крепкий старичок, напудренный, с красным носом, с веселым и задорным лицом. Прежде чем вскрыть письмо г-на де П., он усадил меня за уставленный всякими яствами стол, представив меня жене и сыну как выдающегося археолога, долженствующего извлечь Русильон из забвения, в котором он пребывал вследствие равнодушия ученых.

Я ел с наслаждением, ибо ничто так не возбуждает аппетита, как свежий горный воздух, и в то же время рассматривал моих хозяев. Я уже говорил о г-не де Пейрораде; добавлю еще, что он был необыкновенно подвижен. Он говорил, ел, вскакивал, бегал в свою библиотеку, приносил мне книги, показывал гравюры, подливал вина, не мог двух минут посидеть спокойно. Жена его, особа немного тучная, как все каталонки, которым за сорок, показалась мне истинной провинциалкой, всецело поглощенной хозяйством. Хотя стоявшего на столе было более чем достаточно, чтобы накормить шестерых человек, она побежала на кухню, велела нарезать несколько голубей, нажарить просяных лепешек, открыла несметное количество банок варенья. В одно мгновение стол оказался весь уставлен блюдами и бутылками, и я, наверное, умер бы от несварения желудка, если бы только отведал всего того, что мне предлагалось. И всякий раз, как я отказывался от какого-нибудь блюда, хозяйка неизменно рассыпалась в извинениях: конечно, в Илле трудно угодить моим вкусам. В провинции нелегко достать что-нибудь хорошее, а парижане так избалованы!

В то время как отец и мать суетились, Альфонс де Пейрорад оставался неподвижным, как Терм. Это был высокий молодой человек двадцати шести лет, с лицом красивым и правильным, но маловыразительным. Его рост и атлетическое сложение хорошо согласовались со славою неутомимого игрока в мяч, которою он пользовался в тех краях. В этот вечер он был одет элегантно, по картинке последнего номера *Модного журнала*. Но мне казалось, что этот костюм стесняет его; в своем бархатном воротничке он сидел, словно проглотив аршин, и поворачивался не иначе, как всем корпусом. Его большие загорелые руки с короткими ногтями плохо подходили к его наряду. Это были руки крестьянина в рукавах денди. Вообще же, хотя он с любопытством рассматривал меня с ног до головы, как приезжего из Парижа, он за весь вечер лишь один раз заговорил со мной, именно чтобы спросить, где я купил цепочку для часов.

– Да, мой дорогой гость, – сказал мне г-н де Пейрорад, когда ужин подходил к концу, – раз уж вы ко мне попали, я вас не выпущу. Вы покинете нас не раньше, чем осмотрите все, что есть достопримечательного в наших горах. Вы должны хорошенько познакомиться с нашим Русильоном и отдать ему должное. Вы и не подозреваете, что мы вам здесь покажем. Памятники финикийские, кельтские, римские, арабские, византийские – все это

предстанет перед вами, все без исключения. Я вас поведу всюду и заставлю все осмотреть до последнего кирпича.

Приступ кашля прервал его речь. Я воспользовался этим, чтобы высказать ему, как неприятно мне отнимать у него время в момент, столь важный для его семейных дел. Если бы он согласился дать мне свои ценные наставления касательно экскурсий, которые мне надлежит совершить, я мог бы один, избавив его от труда сопровождать меня...

— А, вы намекаете на женитьбу этого молодца! — вскричал он, прервав меня. — Пустяки! Мы с этим покончим послезавтра. Вы посмотрите свадьбу, которую мы справим запросто, так как невеста носит траур по тетке, оставившей ей наследство. Поэтому не будет ни праздника, ни бала... Конечно, жаль: вы увидели бы, как пляшут наши каталонки... Среди них есть прехорошенькие, и вас разобрала бы, пожалуй, охота последовать примеру моего Альфонса. Говорят, одна свадьба влечет за собой другую. В субботу, когда молодые поженятся, я буду свободен, и мы двинемся в путь. Не посетуйте, если поскучаете на провинциальной свадьбе. Для парижанина, пресыщенного празднествами... свадьба, да еще без танцев!.. А все же вы увидите новобрачную... новобрачную... ну, да вы сами потом скажете ваше мнение... Впрочем, вы человек серьезный и на женщин, наверное, уже не заглядываетесь. У меня найдется получше что вам показать. Да, вы кое-что увидите!.. Я приготовил вам на завтра славный сюрприз.

— Боже мой! — сказал я. — Трудно хранить в доме сокровище, чтобы о нем не знали все кругом. Я, кажется, догадываюсь о сюрпризе, который вы мне готовите. Если речь идет о вашей статуе, то описание ее, которое я получил от моего проводника, подстрекает мое любопытство и заранее обеспечивает ей мое восхищение.

— А, он уже рассказал вам об идоле, — так они называют мою прекрасную Венеру Тур... Впрочем, не буду забегать вперед. Завтра, при ярком дневном свете, вы увидите ее и тогда скажете, прав ли я, считая ее шедевром. Черт побери! Вы явились как раз вовремя. На ней есть надписи, которые я, бедный невежда, объясняю по-своему... Но вы, парижский ученый, может быть, станете смеяться над моим толкованием... Дело в том, что я написал маленькую работу... Да, я, такой, каким вы меня видите... старый провинциальный антикварий, дерзнул на это... Я хочу предать ее тиснению... Если бы вы согласились прочесть и внести свои поправки, я мог бы надеяться... Например, мне было бы очень интересно узнать, как переведете вы надпись на цоколе: Cave...¹. Впрочем, пока воздержусь от вопросов. До завтра, до завтра! Сегодня ни слова больше о Венере.

— Правда, Пейрорад, — сказала ему жена, — ты лучше сделаешь, если оставишь своего идола в покое. Разве ты не видишь, что мешаешь нашему гостю кушать? Поверь мне: он видел в Париже статуи красивее твоей. В Тюильри есть несколько десятков, и таких же бронзовых.

— О невежество, святое провинциальное невежество! — перебил ее Пейрорад. — Сравнить дивную античную статую с безвкусными фигурками Кусты!

¹ Берегись... (*Лат.*).

Не дано стряпухе милой
О богах судить бессмертных.

Вообразите только: жена хотела, чтобы я переплавил мою статую на колокол для нашей церкви. И она стала бы его крестной матерью. Так обойтись с шедевром Мирона!

– Шедевр! Шедевр! Хороший шедевр сама она сотворила! Сломать человеку ногу!

– Слушай, жена, – сказал г-н де Пейрорад решительным тоном, вытягивая свою правую ногу в пестром шелковом чулке. – Если бы Венера сломала мне ногу, и то я бы не жалел.

– Боже мой, что ты только говоришь, Пейрорад! Счастье еще, что бедняге лучше... У меня просто духу не хватает смотреть на статую, которая творит такие беды. Бедный Жан Коль!

– Раненный Венерой дурень жалуется! – с громким смехом воскликнул г-н Пейрорад. – *Veneris nes praemia moris*¹. Кто не был ранен Венерой?

Альфонс, смысливший во французском языке больше, чем в латыни, хитро сощурил глаза и поглядел на меня, как бы спрашивая: «А вы, парижанин, поняли?»

Ужин кончился. Прошел уже час, как я перестал есть. Чувствуя усталость, я не мог скрыть овладевшую мною зевоту. Г-жа де Пейрорад первая это заметила и сказала, что пора идти спать. Тогда посыпались новые извинения по поводу плохого ночлега, который меня ожидал. Это ведь не то, что в Париже. В провинции все так скверно устроено! Надо быть снисходительным к русильонцам. Сколько ни уверял я, что после такой прогулки по горам охапка соломы будет для меня превосходнейшим ложем, они продолжали умолять меня извинить скромных деревенских жителей, которые не могут принять гостя так хорошо, как бы им хотелось. Наконец в сопровождении г-на де Пейрорада я поднялся в отведенную мне комнату. Лестница, верхние ступеньки которой были из дерева, вела в середину коридора, куда выходило несколько комнат.

– Вот здесь, направо, – сказал мой хозяин, – комната, предназначенная мною для будущей супруги моего сына. А ваша находится в противоположном конце коридора. Вы, конечно, понимаете, – добавил он, стараясь придать голосу оттенок лукавства, – новобрачные любят уединение. Вы будете в одном конце дома, они – в другом.

Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первое, что мне бросилось в глаза, была кровать длиною в семь футов и шириною в шесть, притом такая высокая, что без табуретки невозможно было на нее взлезть. Показав мне, где находится, звонок, и удостоверившись лично, что сахарница полна и флаконы с одеколоном стоят на своем месте, на туалетном столе, мой хозяин несколько раз спросил, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь, затем пожелал спокойной ночи и оставил меня одного.

Окна были закрыты. Прежде чем раздеться, я открыл одно из них, чтобы подышать свежим воздухом, таким сладостным после долгого ужина. Прямо передо мной высился Канигу, изумительный во всякий час дня, но в этот вечер, под заливавшими его лунными лучами, показавшийся мне

¹ И ты не познаешь даров Венеры (*лат.*)

прекраснейшею горою в мире. Я постоял несколько минут, созерцая его чудесный силуэт, и уже собирался закрыть окно, как вдруг, опустив глаза, заметил метрах в сорока от дома стоявшую на пьедестале статую. Она стояла в углу, у живой изгороди, отделявшей садик от большого, совершенно гладкого прямоугольника, который представлял собою, как я впоследствии узнал, городскую площадку для игры в мяч. Этот кусок земли принадлежал раньше г-ну де Пейрораду, но он передал его по настоятельной просьбе сына городу.

Расстояние, отделявшее меня от статуи, не позволяло мне ее рассмотреть; я мог судить лишь о ее высоте и определил ее примерно в шесть футов. В эту минуту двое гуляк проходили через площадку, насвистывая славную русильонскую песенку «Средь гор родимых». Они остановились посмотреть на статую, и один из них даже заговорил с нею. Он изъяснялся по-каталонски, но я уже достаточно прожил в Русильоне, чтобы понять все, что он говорил.

– Ты здесь, подлюга? (Он употребил на своем родном языке более сильное выражение.) Ты еще здесь? – говорил он. – Это ты сломала ногу Жану Колло! Достанься ты мне, я бы тебе свернул шею.

– А как бы ты это сделал? – сказал другой. – Она вся из меди, и такой твердой, что Этьен сломал напильник, когда попробовал резнуть. Это медь языческих времен, тверже всего на свете.

– Будь у меня с собой долото, – (говоривший, видимо, был подмастерьем слесаря), – я бы сейчас же выковырял ее белые глазницы, как вынимают миндалину из скорлупы. В них серебра не меньше чем на сто су.

Они пошли дальше.

– Надо все-таки попрощаться с идиолом, – сказал, вдруг остановившись, старший из парней.

Он наклонился и, должно быть, поднял с земли камень. Я видел, как он размахнулся, что-то швырнул, и тотчас бронза издала гулкий звук. Но в то же мгновение подмастерье схватился рукой за голову, вскрикнув от боли.

– Она швырнула в меня камень обратно! – воскликнул он.

И оба проказника пустились бежать со всех ног. Очевидно, камень отскочил от металла и наказал глупца, дерзнувшего оскорбить богиню.

Я закрыл окно и от души посмеялся.

«Еще один вандал, наказанный Венерой! Если бы все разрушители наших древних памятников поразбивали о них головы!»

После этого человеколюбивого пожелания я заснул.

Было совсем светло, когда я пробудился. Около моей постели стояли с одной стороны г-н де Пейрорад в халате, с другой – посланный его женой слуга с чашкой шоколада в руках.

– Пора вставать, парижанин. Эх вы, лентяи, столичные жители! – говорил мой хозяин, пока я поспешно одевался. – Уже восемь часов, а вы еще в постели. Я на ногах с шести часов. Уже три раза я поднимался к вам, подходил к двери на цыпочках: тишина, никаких признаков жизни. Вредно так много спать в ваши годы. Вас дожидается моя Венера, которой вы еще не видели! Ну-ка выпейте скорее чашку барселонского шоколада... Настоящая контрабанда... Такого шоколада в Париже не найти. Вам нужно набраться сил, потому что, когда я приведу вас к моей Венере, вы от нее не оторветесь.

Через пять минут я был готов, то есть наполовину выбрился, кое-как натянул на себя платье и обжег себе горло кипящим шоколадом. Спустившись в сад, я очутился перед великолепной статуей.

Это была действительно Венера, притом дивной красоты. Верхняя часть ее тела была обнажена в соответствии с тем, как древние обыкновенно изображали свои великие божества. Правая рука ее, поднятая вровень с грудью, была повернута ладонью внутрь, большой палец и два следующих были вытянуты, а последние два слегка согнуты. Другая рука придерживала у бедра складки одеяния, прикрывающего нижнюю часть тела. Своею позою эта статуя напоминала Игрока в мурр, которого неизвестно почему называют Германиком. Быть может, это было изображение богини, играющей в мурр.

Как бы то ни было, невозможно представить себе что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры, более нежное и сладостное, чем его изгибы, более изящное и благородное, чем складки ее одежды. Я ожидал увидеть какое-нибудь произведение поздней Империи; передо мною был шедевр лучших времен искусства ваяния. Больше всего меня поразила изумительная правдивость форм, которые можно было бы счесть вылепленными с натуры, если бы природа способна была создать столь совершенную модель.

Волосы, поднятые надо лбом, по-видимому, были когда-то вызолочены. Голова маленькая, как почти у всех греческих статуй, слегка наклонена вперед. Что касается лица, то я не в силах передать его странное выражение, характер которого не походил ни на одну из древних статуй, какие только я в состоянии припомнить. Это была не спокойная и суровая красота греческих скульпторов, которые по традиции всегда придавали чертам лица величавую неподвижность. Здесь художник явно хотел изобразить коварство, переходящее в злобу. Все черты были чуть-чуть напряжены: глаза немного скошены, углы рта приподняты, ноздри слегка раздувались. Презрение, насмешку, жестокость можно было прочесть на этом невероятно прекрасном лице. Право же, чем больше всматривался я в эту поразительную статую, тем сильнее я испытывал мучительное чувство при мысли, что такая дивная красота может сочетаться с такой полнейшей бессердечностью.

— Если модель когда-либо существовала, — сказал я г-ну де Пейрораду, — а я сильно сомневаюсь, чтобы небо могло создать подобную женщину, — то я очень жалею любивших ее. Она, наверное, радовалась, видя, как они умирали от отчаяния. Есть что-то беспощадное в выражении ее лица, а между тем я никогда не видел ничего столь прекрасного.

— Венера, мыслью всей прильнувшая к добыче! — воскликнул г-н де Пейрорад, которому мой восторг доставлял удовольствие.

Это выражение сатанинской иронии еще усиливалось, быть может, контрастом между ее блестящими серебряными глазами и черновато-зеленым налетом, наложенным временем на всю статую. Эти блестящие глаза создавали некоторую иллюзию реальности, казались живыми. Я вспомнил слова моего проводника, уверявшего, что она заставляет тех, кто на нее смотрит, опускать глаза. Это было похоже на правду, и я даже рассердился на себя за то, что испытывал какую-то неловкость перед этой бронзовой фигурой.

— Теперь, когда вы насладились достаточно, мой дорогой коллега по гробокопательству, — сказал мне хозяин, — приступим с вашего разрешения к

ученой беседе. Что вы скажете об этой надписи, на которую вы до сих пор еще не обратили внимания?

Он указал на цоколь статуи, и я прочел следующие слова:

CAVE AMANTEM¹.

– Quid dicis, doctissime?² – спросил он меня, потирая руки. – Посмотрим, сойдемся ли мы в толковании этого cave amantem.

– Смысл может быть двоякий, – ответил я. – Можно перевести: «Берегись того, кто любит тебя, остерегайся любящих». Но я не уверен, что в данном случае это будет хорошая латынь. Принимая во внимание бесовское выражение лица этой особы, я скорее готов предположить, что художник хотел предостеречь смотрящего на статую от ее страшной красоты. Поэтому я перевел бы так: «Берегись, если она тебя полюбит».

– Гм... – сказал г-н де Пейрорад. – Это, конечно, вполне допустимое толкование. Но, не в обиду вам будь сказано, я предпочел бы ваш первый перевод, но только я развил бы вашу мысль следующим образом. Вам известно, кто был любовник Венеры?

– Их было много.

– Да, но первым был Вулкан. Не хотел ли художник сказать ей: «При всей твоей красоте и надменности ты получишь в любовники кузнеца, хромого уроды»? Хороший урок кокеткам, сударь!

Я не мог сдержать улыбку, – настолько натянутым показалось мне это объяснение.

– Ужасный язык – эта латынь с ее сжатостью выражений, – заметил я, желая уклониться от спора с моим антикварием, и отошел на несколько шагов, чтобы лучше рассмотреть статую.

– Одну минуту, коллега! – сказал г-н де Пейрорад, удерживая меня за руку. – Вы еще не все видели. Есть другая надпись. Поднимитесь на цоколь и посмотрите на правую руку.

Сказав это, он помог мне взобраться. Без лишних церемоний я обхватил за шею Венеру, с которой начал уже чувствовать себя запросто. Я даже рискнул заглянуть ей прямо в лицо и нашел его еще более злым и прекрасным. Затем я различил несколько букв, вырезанных на предплечье, как мне показалось, античной скорописью. Напрягая зрение, я с помощью очков разобрал следующее, причем г-н де Пейрорад, по мере того как я читал вслух, повторял каждое мое слово, выказывая жестах и восклицаниями свое одобрение. Итак, я прочел:

VENERI TURBUL...
EUTYCHES MYRO
IMPERIO FECIT

После слова turbul в первой строке, как мне показалось, раньше было еще несколько букв, позднее стершихся, но turbul можно было прочесть ясно.

– Что это значит? – спросил мой хозяин с сияющим лицом и лукавой усмешкой, так как он был уверен, что мне нелегко будет справиться с этим.

¹ Берегись любящей (лат.).

² Что скажешь, ученейший муж? (Лат.).

– Здесь есть слово, которого я пока еще не понимаю. Остальное все ясно: «Евтихий Мирон сделал это приношение Венере по ее велению».

– Превосходно! Но что такое *turbul*?.. Как вы его объясняете? Что значит *turbul*?..

– *Turbul*... меня очень смущает. Я тщетно ищу среди известных мне эпитетов Венеры такого, который подходил бы сюда. А что сказали бы вы о *turbulenta*? Венера буйная, возмущающая?.. Как видите, я все время думаю о злом выражении ее лица. *Turbulenta* – это, пожалуй, неплохой эпитет для Венеры, – добавил я скромно, так как сам не до конца был удовлетворен своим объяснением.

– Венера – буянка! Венера – забияка! Уж не считаете ли вы мою богиню кабацкой Венерою? Ну нет, сударь, эта Венера из порядочного общества. Позвольте мне объяснить по-своему это *turbul*... Но только обещайте не разглашать моего открытия до тех пор, пока мое исследование не будет напечатано. Дело в том, видите ли, что я горжусь своим открытием... Надо же, чтобы и на долю бедных провинциалов достались кое-какие крохи! Вы достаточно богаты, господа парижские ученые!

С высоты цоколя, на котором я продолжал стоять, я торжественно обещал ему, что не совершу такой низости и не присвою его открытие.

– *Turbul*, – начал он, подойдя ко мне поближе и понизив голос, чтобы кто-нибудь со стороны не подслушал, – надо читать: *Turbulnerae*.

– Это мало что объясняет.

– Выслушайте меня. В одной миле отсюда, у подножия горы, находится деревня, которая называется Бультернера. Это искажение латинского слова *Turbulnera*. Такого рода инверсия – вещь обычная. Бультернера, сударь, была римским городом. Я давно это подозревал, но до сих пор у меня не было точного доказательства. Теперь я им располагаю. Эта Венера была местным божеством Бультернерской общины. И это имя Бультернера, античное происхождение которого теперь мною доказано, свидетельствует о другом, еще более любопытном обстоятельстве, именно что Бультернера, прежде чем стать римским городом, была городом финикийским.

Он остановился на минуту, чтобы передохнуть и насладиться моим изумлением. Мне с трудом удалось подавить в себе смех.

– В самом деле, – продолжал он. – *Turbulnera* – название чисто финикийское. *Tur*, если произнести его как *Tur*, и *Sur* – одно и то же слово, не так ли? Но ведь *Sur* – это финикийское название Тира, смысл которого вряд ли стоит вам объяснять. *Bul*, иначе *Bel*, *Bul*, с небольшими различиями в произношении, – это Ваал. Меня несколько затрудняет *Nera*. За отсутствием подходящего финикийского слова я готов предположить, что *Nera* происходит от греческого *negos* – влажный, болотистый. В таком случае это – гибридное имя. В подтверждение *negos* я мог бы вам показать гнилые болота, образуемые слиянием горных ручьев около Бультернеры. С другой стороны, возможно, что окончание *нега* было присоединено гораздо позже, в честь Неры Пивезувии, жены Тетрика, оказавшей, быть может, какое-нибудь благодеяние Турбульской общине. Но из-за болот я предпочитаю этимологию с *negos*.

Г-н де Пейрорад с довольным видом втянул понюшку табака.

– Но оставим финикийцев и вернемся к нашей надписи. Я ее перевожу так: «Венере Бультернерской Мирон посвящает, по ее велению, эту статую, сделанную им».

Я воздержался от критики этой этимологии, однако, желая показать, что я тоже не лишен проницательности, сказал:

– Позвольте, сударь. Мирон что-то посвятил Венере, но я не думаю, чтобы этим предметом была сама статуя.

– Как! – воскликнул он. – Ведь Мирон был знаменитый греческий скульптор! Его талант мог сохраниться в его роду, и один из его потомков сделал эту статую. Для меня это очевидно.

– Но, – возразил я, – я вижу на руке маленькую дырочку. Мне кажется, она служила для прикрепления какого-нибудь предмета, например запястья, которое Мирон, несчастливый любовник, поднес Венере как искупительную жертву. Венера была разгневана на него, и он умилился ей, принес ей в дар золотое запястье. Заметьте, что *fecit* часто употребляется в значении *consecravit*¹; это синонимы. Я мог бы вам привести не один пример, будь у меня под рукою Грутер или Орелли. Легко предположить, что влюбленный увидел во сне Венеру и ему почудилось, будто она велела ему поднести золотое запястье ее статуе. Мирон посвятил ей запястье... Потом явились варвары или какой-нибудь ворсвятотатец и...

– Сразу видно, что вы сочинитель романов! – воскликнул мой хозяин, протягивая руку, чтобы помочь мне спуститься. – Нет, сударь, это – произведение школы Мирона. Погляньте на работу, и вы согласитесь со мной.

Взяв себе за правило никогда серьезно не противоречить антиквариям, вбившим себе что-нибудь в голову, я кивнул ему в знак согласия и сказал:

Изумительное произведение!

– Ах, боже мой! – вскричал г-н де Пейрорад. – Новое проявление вандализма! Кто-то бросил в мою статую камнем.

Он обратил внимание на белое пятнышко над самой грудью Венеры. Я заметил такой же знак на пальцах правой руки, задетых, как мне подумалось, пролетевшим камнем, если только он не был сделан осколком, отскочившим от камня при ударе о статую и оцарапавшим рикошетом ее руку. Я рассказал моему хозяину о поругании, коего я был свидетелем, и о немедленном наказании, за ним последовавшем. Он долго смеялся и, сравнив подмастерье с Диомедом, пожелал ему, чтобы он, подобно греческому герою, увидел, как его товарищи превращаются в белых птиц.

Колокол, позвавший нас к завтраку, прервал эту классическую беседу, и так же, как накануне, я принужден был есть за четверых. Затем явились фермеры г-на де Пейрорада. В то время как он их принимал, его сын повел меня смотреть коляску, купленную им в Тулузе для своей невесты и вызвавшую, как вы сами понимаете, мое живейшее восхищение. После этого мы с ним направились в конюшню, где он продержал меня с полчаса, расхваливая своих лошадей, рассказывая их родословную и перечисляя призы, взятые ими на департаментских скачках. Наконец он завел речь о своей невесте по поводу серой кобылы, которую он собирался ей подарить.

¹ *Fecit* – сделал; *consecravit* – посвятил (лат.).

– Сегодня она будет здесь, – сказал он. – Не знаю, понравится ли она вам. Ведь вы, парижане, очень разборчивы. Но здесь и в Перпиньяне все ее находят очаровательной. Самое главное, она очень богата. Ее тетка из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив!

Я был искренне возмущен тем, что молодого человека больше трогает приданое, нежели прекрасные глаза его невесты.

– Вы знаете толк в драгоценностях, – продолжал Альфонс. – Что вы скажете об этой вещице? Я завтра поднесу ей кольцо.

Говоря так, он снял с первого сустава своего мизинца массивный перстень с бриллиантами в форме двух сплетенных рук – образ, показавшийся мне необычайно поэтичным. Работа была старинная, но, по-моему, кольцо было переделано, когда вставляли бриллианты. На внутренней стороне перстня можно было прочесть следующие слова, написанные готическими буквами: *Sempr'ab ti*, что значит: «Навеки с тобой».

– Красивый перстень, – сказал я, – но из-за бриллиантов он потерял часть своей прелести.

– О, он стал теперь гораздо красивее! – заметил Альфонс с улыбкой. – Здесь бриллиантов на тысячу двести франков. Мне дала его мать. Это фамильный перстень, очень древний... Рыцарских времен. Его носила моя бабка, а она получила его тоже от своей бабки. Бог весть, когда он был сделан.

– В Париже принято, – сказал я, – дарить совсем простые кольца, обычно составленные из двух разных металлов, например из золота и платины. Вот другое кольцо, которое у вас на пальце, очень подошло бы в данном случае. А этот перстень с его бриллиантами и рельефными руками так толст, что на него нельзя надеть перчатку.

– Ну, это уж дело моей супруги устраиваться, как она хочет. Думаю, что ей все же приятно будет получить его. Носить тысячу двести франков на пальце всякому лестно. А это колечко, – прибавил он, с довольным видом поглядывая на гладкое кольцо, украшавшее его руку, – мне подарила одна женщина в Париже во время карнавала. Ах, как славно я провел время в Париже, когда был там два года назад! Вот где умеют повеселиться!..

И он вздохнул с сожалением.

В этот день нам предстояло обедать в Пюигариге у родителей невесты. Мы сели в коляску и поехали в усадьбу, находившуюся в полутора милях от Илля. Я был представлен и принят как старый друг. Не стану описывать обед и последовавшую, за ним беседу, в которой я принимал слабое участие. Альфонс, сидевший рядом с невестой, шептал ей что-то на ухо каждые четверть часа. Она не подымала глаз и всякий раз, когда жених с нею заговаривал, застенчиво краснела, но отвечала ему без всякого замешательства.

Мадемуазель де Пюигариг было восемнадцать лет, и ее гибкая и тонкая фигура являла полный контраст мощному телосложению ее жениха. Она была не только красива, но и пленительна. Я восхищался полнейшей естественностью всех ее ответов, а выражение доброты, не лишенное, однако, легкого оттенка лукавства, невольно заставило меня вспомнить Венеру моего хозяина. При этом мысленном сравнении я задал себе вопрос: не зависит ли в значительной мере та особая красота, в которой невозможно было отказать

статуе, от ее сходства с тигрицей, ибо энергия, хотя бы и в дурных страстях, всегда вызывает у нас удивление и какое-то невольное восхищение?

«Как жаль, — подумал я, покидая Пюигариг, — что такая прелестная девушка богата и что ради ее приданого на ней женится не достойный ее человек!»

Вернувшись в Илль, я не знал, о чем заговорить с г-жой де Пейрорад, с которой я считал необходимым изредка обмениваться несколькими словами; я воскликнул:

— Вы, русильонцы, настоящие вольнодумцы! Как это вы могли, сударыня, назначить свадьбу на пятницу? Мы в Париже более суеверны: у нас никто бы не решился жениться в этот день.

— Ах, боже мой, и не говорите! — отвечала она. — Если бы зависело от меня, я бы, уж конечно, выбрала другой день. Но Пейрорад настаивал, и мне пришлось уступить. Меня все же это очень тревожит. Что, если случится какое-нибудь несчастье? Должна же быть причина, почему все люди боятся пятницы?

— Пятница — это день Венеры! — воскликнул ее муж. — Хороший день для свадьбы! Как видите, дорогой коллега, я все время думаю о моей Венере. Честное слово, я ради нее выбрал пятницу! Завтра, если хотите, мы совершим перед свадьбой маленькое жертвоприношение — зарежем двух голубок, и если бы только удалось достать ладану...

— Перестань, Пейрорад! — прервала его жена, до крайности возмущенная. — Курить ладан перед идиолом! Это кощунство! Что будут говорить о нас люди?

— По крайней мере, — сказал г-н де Пейрорад, — ты мне разрешишь возложить ей на голову венки из роз и лилий: *Manibus date liliaplenis*¹. Вы видите, сударь, конституция — это только пустой звук. У нас нет свободы вероисповедания!

На завтра был выработан следующий распорядок дня. Все должны быть готовы и одеты в парадное платье к десяти часам. После утреннего шоколада мы отправимся в экипажах в Пюигариг. Гражданский брак будет заключен в деревенской мэрии, а венчание совершится в часовне при усадьбе. Потом — завтрак. После завтрака каждому будет предоставлена свобода до семи часов вечера. В семь — возвращение в Илль к г-ну де Пейрораду, где состоится ужин для обоих семейств. Остальное не требовало разъяснений. Так как танцевать было нельзя, решили как можно лучше угоститься.

С восьми часов утра я сидел перед Венерой с карандашом в руке и в двадцатый раз принимался набрасывать голову статуи, но мне все не удавалось схватить ее выражение. Г-н де Пейрорад ходил вокруг меня, давал советы, повторял свою финикийскую этимологию; затем, возложив бенгальские розы на цоколь статуи, он трагикомическим тоном обратился к ней с мольбой о счастье четы, которой предстояло жить под его кровлей. Около девяти часов он вернулся домой, чтобы нарядиться, и в ту же минуту появился Альфонс в плотно облегавшем его новом костюме, в белых перчатках и лакированных ботинках, в сорочке с запонками тонкой работы и с розой в петлице.

¹ Возлагайте лилии щедрой рукой (лат.).

– Вы нарисуете портрет моей жены? – сказал он, наклонясь над моим наброском. – Она тоже недурна собой.

Как раз в это время на площадке для игры в мяч, упомянутой мною, началась партия, тотчас же привлекая внимание Альфонса. Устав и отчаявшись воссоздать это демоническое лицо, я скоро бросил свой рисунок и пошел смотреть на играющих. Среди них было несколько испанцев – погонщиков мулов, прибывших накануне. Это были арагонцы и наваррцы, почти все отличавшиеся поразительной ловкостью. Неудивительно поэтому, что илльские игроки, хотя и подбадриваемые присутствием и советами Альфонса, довольно скоро были побиты пришлыми мастерами. Местные зрители были этим весьма расстроены. Альфонс посмотрел на часы. Было только половина десятого. Его мать еще не была причесана. Он отбросил сомнения: сняв фрак и взяв у кого-то куртку, он вызвал испанцев на бой. Я смотрел на него с улыбкой, немного удивленный.

– Надо поддержать честь города, – сказал он.

Теперь он мне показался действительно красивым. Он был охвачен страстью. Парадный костюм, еще недавно столь его занимавший, сейчас утратил для него всякое значение. Минуту назад он боялся повернуть голову, чтобы не сдвинуть в сторону галстук. Сейчас он забыл о своих завитых волосах, о тонких складках своего жабо. А о невесте... О, я думаю, он отложил бы свадьбу, если бы это понадобилось! Я видел, как он поспешно надел сандалии, засучил рукава и с уверенным видом стал во главе побежденных, как Цезарь, собравший своих солдат при Диррахии. Я перелез через изгородь и с удобством расположился в тени железного дерева так, что мог хорошо видеть оба лагеря.

Вопреки ожиданиям Альфонс пропустил первый мяч; правда, мяч скользнул по земле, пущенный с необыкновенной силой одним арагонцем, который, казалось, был главарем испанцев. То был человек лет сорока, худощавый и нервный, ростом в шесть футов, с кожей оливкового цвета, почти такую же темной, как бронза статуи Венеры.

Г-н Альфонс с яростью швырнул свою ракетку на землю.

– Все это проклятое кольцо! – вскричал он. – Оно так жмет мне палец, что я промазал верный удар.

Он снял не без труда бриллиантовое кольцо. Я подошел, чтобы взять его, но, предупредив меня, он подбежал к Венере, надел ей перстень на безымянный палец и вернулся на свое место во главе илльских игроков.

Он был бледен, но спокоен и решителен. С этого момента он ни разу не промахнулся, и испанцы потерпели полное поражение. Приятно было смотреть на восторженных зрителей: одни выпускали радостные крики, бросая в воздух шапки, другие пожимали руки победителю, называя его гордостью их города. Если бы он отразил неприятельское вторжение, то и то, я думаю, его бы не поздравляли более пламенно и сердечно. Огорчение побежденных усиливало блеск его победы.

– Мы как-нибудь еще поиграем с вами, милейший, – сказал он арагонцу тоном превосходства, – но только я дам вам несколько очков вперед.

Я предпочел бы, чтобы Альфонс был скромнее, и мне стало почти неловко от унижения его противника.

Гиганту испанцу эти слова показались жестоким оскорблением. Я видел, как его смуглое лицо побледнело. Он хмуро посмотрел на свою ракетку, стиснул зубы, затем глухо пробормотал: «Me lo pagaras»¹.

Голос г-на де Пейрорада прервал торжество его сына. Хозяин мой, крайне удивленный тем, что не застал сына во дворе, где сейчас закладывали его новую коляску, удивился еще более, увидев его в поту, с ракеткою в руке. Альфонс побежал домой, вымыл руки и лицо, опять надел новый фрак и лакированные ботинки, и через пять минут мы уже ехали крупной рысью по дороге в Пюигариг. Все городские игроки в мяч вместе с толпой зрителей бежали вслед за нами с радостными криками. Могучим лошадям, которые везли нас, едва удавалось опередить неустрашимых каталонцев.

Мы прибыли в Пюигариг, и процессия уже готовилась двинуться к мэрии, когда Альфонс, ударив себя по лбу, сказал мне тихо:

– Вот так штука! Ведь я забыл свой перстень! Он остался на пальце у Венеры, черт бы ее побрал! Только не говорите об этом матери. Может быть, она не заметит.

– Пошлите кого-нибудь за ним, – сказал я.

– Э, мой слуга остался в Илле! А этим я не доверяю. Брильянтов на тысячу двести франков – это может хоть кого соблазнить. Да и что сказали бы здесь о моей рассеянности? Стали бы надо мной смеяться. Прозвали бы мужем статуи... Только бы не украли кольца! К счастью, идол внушает страх моим молодцам. Они не решаются подойти к нему на расстояние вытянутой руки. Не беда, обойдемся; у меня есть другое кольцо.

Обе церемонии, как гражданская, так и церковная, прошли с подобающей торжественностью, и мадемуазель де Пюигариг получила кольцо парижской модистки, не подозревая, что жених подарил ей залог любви другой женщины. Потом, усевшись за стол, пили, ели, даже пели, и все это тянулось весьма долго. Грубое веселье, царившее вокруг новобрачной, заставляло меня страдать за нее. Однако она держалась лучше, чем я мог ожидать, и ее смущение не было ни неловкостью, ни притворством.

Быть может, мужество приходит вместе с трудностью положения.

Когда завтрак с божьей помощью окончился, было около четырех часов. Мужчины принялись бродить по парку, который был великолепен, или смотреть, как танцуют на лужайке перед замком пюигаригские крестьянки, нарядившиеся по-праздничному. Таким способом нам удалось убить несколько часов. Тем временем женщины теснились около новобрачной, восторгаясь полученными ею свадебными подарками. Затем она переоделась, и я заметил, что она накрыла свои прекрасные волосы чепцом и шляпой с перьями, ибо больше всего на свете женщины торопятся надеть наряд, который обычай воспрещает им носить в девичестве.

Было около восьми часов, когда мы собрались в обратный путь. Но перед этим произошла волнующая сцена. Тетка мадемуазель де Пюигариг, заменявшая ей мать, особа весьма пожилая и крайне набожная, не должна была ехать с нами в город. Перед разлукой она прочла своей племяннице трогательное наставление о ее обязанностях супруги, следствием чего были потоки слез и нескончаемые объятия. Г-н де Пейрорад сравнил это

¹ Ты мне за это заплатишь (*исп.*).

расставание с похищением сабинянок. Наконец нам удалось выбраться, и в течение всей дороги каждый старался как мог развлечь молодую и рассмешить ее, но все было напрасно.

В Илле нас ждал ужин, да еще какой! Если грубое утреннее веселье меня корбило, то еще более тягостными показались мне те двусмысленные шутки и прибаутки, мишенью которых были по преимуществу новобрачные. Новобрачный, куда-то исчезавший на минутку перед тем, как сесть за стол, был бледен и странно серьезен. Он непрерывно пил старое кольюрское вино, крепкое, почти как водка. Сидя рядом с ним, я почел себя обязанным предостеречь его:

– Берегитесь! Говорят, что вино...

Чтобы не отстать от сотрапезников, и я сказал какую-то глупость.

Он толкнул меня коленом и шепнул:

– Когда мы встанем из-за стола... мне хотелось бы сказать вам несколько слов.

Его торжественный тон удивил меня. Я посмотрел на него внимательно и заметил странную перемену в его лице.

– Вы плохо себя чувствуете? — спросил я.

– Нет.

И он снова принялся пить.

Между тем под веселые возгласы и рукоплескания одиннадцатилетний мальчик, залезший под стол, показал присутствующим хорошенькую белую с розовым ленточку, снятую им со щиколотки новобрачной. Это и называется подвязка. Тотчас же ленту разрезали на кусочки и роздали их молодым людям, украсившим ими свои петлицы, согласно старинному обычаю, еще соблюдаемому в патриархальных семьях. Это заставило новобрачную покраснеть до ушей... Но ее смущение достигло предела, когда г-н де Пейрорад, водворив молчание, пропел ей несколько каталонских стихов, сочиненных им, по его уверению, экспромтом. Вот их содержание, насколько мне удалось его понять:

«Что вижу я, друзья? Или от выпитого вина двоится в глазах моих? Две Венеры здесь предо мною...»

Жених внезапно повернул голову с выражением ужаса, заставившим всех рассмеяться.

«Да, — продолжал г-н де Пейрорад, — две Венеры под кровом моим. Одну нашел я в земле, словно трюфель; другая, сойдя с небес, разделила сейчас между нами свой пояс».

Он хотел сказать: подвязку.

«Сын мой! Избери себе какую хочешь Венеру — римскую или каталонскую. Но плутишка уже предпочел каталонку, выбрал лучшую долю. Римлянка черна, каталонка бела. Римлянка холодна, каталонка воспаляет все, что к ней приближается».

Последние слова вызвали такой рев восторга, такой раскатистый смех, такие бурные рукоплескания, что я испугался, как бы потолок не обрушился нам на голову. Только у троих лица были серьезны — у новобрачных и у меня. У меня сильно болела голова. К тому же, не знаю почему, свадьбы всегда нагоняют на меня грусть, а эта вдобавок мне была даже неприятна.

Напоследок помощник мэра пропел куплеты, надо сказать, очень игривые. После этого перешли в гостиную, чтобы полюбоваться зрелищем, как будут готовить новобрачную к отходу в спальню, так как было уже около полуночи.

Альфонс отвел меня к окну и сказал, глядя в сторону:

– Вы будете надо мной смеяться... Но я не знаю, что со мной... Я околдован, черт меня поберет!

У меня мелькнула мысль, что ему грозит опасность вроде той, о которой рассказывают Монтень и мадам де Севинье: «История любви человеческой полна трагических случаев» и т. д. и т. д.

«Я всегда полагал, что такого рода неприятности бывают лишь с людьми умственно развитыми», – подумал я.

– Вы выпили слишком много кольюрского вина, – сказал я ему. – Я вас предупреждал.

– Да, это возможно. Но случилась вещь более ужасная...

Его голос прервался. Мне показалось, что он совсем пьян.

– Вы помните мое кольцо? – продолжал он после небольшого молчания.

– Ну конечно! Его украли?

– Нет.

– Значит, оно у вас?

– Нет... я... я не мог снять его с пальца этой чертовки Венеры.

– Да будет вам! Вы просто недостаточно сильно потянули.

– Я старался изо всех сил... Но Венера... согнула палец.

Он пристально посмотрел на меня растерянным взглядом, ухватившись за шпингалет, чтобы не упасть.

– Что за басни! – воскликнул я. – Вы слишком глубоко надвинули его на палец. Завтра вы снимете его клещами. Только не повредите статую.

– Да нет же, говорят вам! Палец Венеры изменил положение; она сжала руку, понимаете?... Выходит, что она моя жена, раз я надел ей кольцо... Она не хочет его возвращать.

Я вздрогнул, и по спине моей пробежали мурашки. Но тут он испустил глубокий вздох, и на меня пахло вином. Мое волнение сразу рассеялось. «Бездельник вдребезги пьян», – подумал я.

– Вы, сударь, антикварий, – продолжал он жалобным тоном, – вы хорошо знаете эти статуи... Может быть, там есть какая-нибудь пружинка или секрет, неизвестный мне... Пойдемте посмотрим!

– Охотно, – ответил я. – Пойдемте вместе,

– Нет, лучше пойдите вы один.

Я вышел из гостиной.

Покуда мы ужинали, погода испортилась, и пошел сильный дождь. Я уже хотел попросить зонтик, но следующее соображение удержало меня. «Глупо идти проверять рассказы пьяницы, – сказал я себе. – В конце концов, он просто хотел надо мной подшутить, чтобы позабавить своих недалеких земляков. Наименьшее, что мне грозит, – это промокнуть до костей и схватить сильный насморк».

Я поглядел с порога на статую, по которой струилась вода, и прошел к себе в комнату, не заходя в гостиную. Я лег в постель, но долго не мог заснуть. Все виденное мною за день не выходило у меня из головы. Я думал о молодой девушке, такой прекрасной и чистой, отданной этому грубому пьянице. «Какая

отвратительная вещь, – говорил я себе, – брак по расчету! Мэр надевает трехцветную перевязь, священник – епитрахиль, и вот достойнейшая в мире девушка отдана Минотавру, Что могут два существа, не связанные любовью, сказать друг другу в минуту, за которую двое любящих отдали бы жизнь? Может ли женщина полюбить мужчину, который однажды был груб с ней? Первые впечатления никогда не изглаживаются, и я уверен, что Альфонс заслужит ненависть своей жены...»

Во время этого монолога, который я здесь сильно сокращаю, я слышал движение в доме, хлопанье открываемых и закрываемых дверей, стук отъезжающих экипажей; затем я услышал на лестнице легкие шаги женщин, направлявшихся в конец коридора, противоположный моей комнате. По-видимому, это была процессия, провожавшая новобрачную до ее постели. После этого провожавшие спустились по лестнице. Дверь в комнату г-жи де Пейрорад затворилась. «Как, должно быть, смущена и плохо себя чувствует, – подумал я, – эта бедная девушка!» Я ворочался в постели, будучи в самом дурном настроении духа. Какую глупую роль играет холостяк в доме, где совершается свадьба!

На некоторое время воцарилась тишина, но вдруг ее нарушили тяжелые шаги по лестнице. Деревянные ступеньки ее сильно скрипели. «Вот увалень! – мысленно воскликнул я. – Еще, пожалуй, свалится».

Все снова затихло. Я взял книгу, чтобы изменить течение моих мыслей. Это был статистический отчет департамента, украшенный статьей г-на Пейрорада о друидических памятниках в округе Прад. Я заснул на третьей странице.

Я спал плохо и несколько раз просыпался. Было, должно быть, часов пять утра, и я лежал уже более двадцати минут без сна, как вдруг пропел петух. Близился рассвет. И вот я отчетливо услышал снова те же тяжелые шаги, тот же скрип лестницы, какие слышал перед тем как заснуть. Это мне показалось удивительным. Позевывая, я пробовал угадать, для чего понадобилось Альфонсу встать так рано, но не мог придумать ничего правдоподобного. Я уже собирался снова закрыть глаза, но тут внимание мое было привлечено странным шумом, к которому вскоре присоединились звонки, хлопанье дверей и, наконец, громкие голоса. «Наш пьяница где-нибудь обронил огонь!» – подумал я, вскакивая с кровати.

Я поспешно оделся и вышел в коридор. С другого конца его неслись крики и жалобные стоны, покрываемые душераздирающим воплем:

– Мой сын! Мой сын!

Было ясно, что с Альфонсом приключилось несчастье. Я вбежал в спальню новобрачных; она была полна народу. Первый, кого я увидел, был молодой Пейрорад, полуодетый и распростертый поперек сломанной кровати. Он был мертвенно-бледен и неподвижен. Мать плакала и кричала, стоя около него. Г-н де Пейрорад суетился, тер ему виски одеколоном, подносил к носу пузырек с солями. Увы, его сын был давно мертв! На диване, в другом конце комнаты, лежала новобрачная, бившаяся в страшных судорогах. Она испускала нечленораздельные крики, и две дюжие служанки едва могли ее удержать.

– Боже мой! – воскликнул я. – Что случилось?

Я подошел к кровати и приподнял тело несчастного юноши; оно уже окоченело и остыло. Сжатые зубы и почерневшее лицо выражали страшные

страдания. Было очевидно, что он погиб насильственной смертью и что агония его была ужасна. Однако ни малейшего следа крови не было видно на одежде. Я раскрыл его рубашку и увидел синюю полосу на груди, на боках и на спине. Похоже было на то, что его сдавили железным обручем. Я наступил ногой на что-то твердое, лежавшее на ковре; наклонившись, я увидел брильянтовый перстень.

Я отвел г-на Пейрорада и его жену в их комнату; затем распорядился перенести туда же новобрачную.

— У вас осталась дочь, — сказал я им. — Вы должны позаботиться о ней.

После этого я вышел из комнаты.

Мне казалось несомненным, что Альфонс стал жертвой злодеяния и что убийцы нашли способ проникнуть ночью в комнату новобрачных. Однако эти кровоподтеки, опоясывавшие все тело, очень смущали меня, — их нельзя было причинить палкой или ломом. Внезапно я припомнил рассказы о том, что валенсийские наемные убийцы пользуются длинными кожаными мешками, набитыми мелким песком, чтобы приканчивать людей, замереть которых им заплачено. И тотчас же мне вспомнился арагонский погонщик мулов с его угрозой. Тем не менее трудно было допустить, чтобы он прибег к столь ужасной мести из-за глупой шутки.

Я принялся блуждать по дому, ища повсюду следов злорадия и не находя их нигде. Я сошел в сад, чтобы посмотреть, не проникли ли злоумышленники отсюда, но не обнаружил никаких явных улик. Впрочем, от дождя, шедшего накануне, почва настолько размокла, что на ней не могло сохраниться ясных следов. Все же я заметил на земле несколько глубоких отпечатков ног; они шли в двух противоположных направлениях, но по одной линии, начинавшейся от угла изгороди, прилегавшей к площадке для игры в мяч, и кончавшейся у входной двери дома. Это могли быть следы, оставленные Альфонсом, когда он ходил к статуе, чтобы снять кольцо с ее пальца. Впрочем, изгородь была здесь менее плотной, чем в других местах, и убийцы могли пролезть через нее именно тут. Бродя вокруг статуи, я остановился на минуту, чтобы посмотреть на нее. На этот раз, признаюсь вам, я не мог взглянуть без содрогания на злое и насмешливое выражение ее лица. И, весь во власти ужасных сцен, свидетелем которых я только что был, я воображал, что вижу перед собой адское божество, ликующее по поводу несчастья, поразившего этот дом,

Я вернулся к себе в комнату и оставался в ней до полудня. Затем вышел, чтобы проведать моих хозяев. Они несколько успокоились. Мадемуазель де Пюигариг, точнее, вдова Альфонса, пришла в себя. Она даже говорила с королевским прокурором из Перпиньяна, оказавшимся в Илле проездом, и давала этому представителю власти свои показания. Он пожелал также выслушать меня. Я ему рассказал, что знал, и не скрыл своих подозрений насчет арагонца. Он распорядился немедленно его арестовать.

— Узнали вы что-нибудь существенное от вдовы господина Альфонса? — спросил я у королевского прокурора после того, как мое показание было протоколировано и подписано мною.

— Несчастная молодая женщина потеряла рассудок, — сказал он мне с печальной улыбкой. — Она совсем помешалась, совсем. Вот что она рассказывает. Она лежала, по ее словам, несколько минут в кровати с

задернутым пологом, как вдруг дверь в спальню отворилась и кто-то вошел. В этот момент молодая госпожа де Пейрорад лежала на краю постели, лицом к стене. Она не шевельнулась, уверенная, что это ее муж. Вскоре затем кровать затрещала, точно на нее навалилась огромная тяжесть. Она очень испугалась, но не решилась повернуть голову. Прошло пять минут, может быть, десять... она не знает в точности сколько. Потом она сделала невольное движение, или же существо, находившееся в кровати, переменяло положение, но только она почувствовала прикосновение чего-то холодного, по ее выражению, как лед. Она опять отодвинулась на краешек кровати, дрожа всем телом. Немного погодя дверь отворилась вторично, и вошедший сказал: «Здравствуй, женушка». Вслед за тем полог раздвинулся. Она услышала сдавленный крик. Особа, бывшая рядом с ней на кровати, села и как будто вытянула вперед руки. Тогда молодая женщина повернула голову... и увидела, как она говорит, своего мужа, стоящего на коленях перед кроватью с головою на уровне подушек, в объятиях какого-то зеленого гиганта, сжимающего его со страшной силой. Несчастная женщина уверяла меня и повторяла раз двадцать, что узнала – угадуйте, кого! – бронзовую Венеру, статую господина де Пейрорада... С тех пор как эта статуя появилась здесь, она всех свела с ума. Но вернемся к рассказу бедной помешанной. При этом зрелище она потеряла сознание, как, вероятно, потеряла и свой рассудок за минуту до того. Она не может даже приблизительно определить, сколько времени она лежала без чувств. Придя в себя, она опять увидела призрак, или, как она утверждает, статую; эта статуя была неподвижна; она сидела на кровати слегка наклонившись. В руках она сжимала ее недвижимого мужа. Пропел петух. Тогда статуя сошла с кровати, выпустила труп из рук и удалилась. Молодая женщина кинулась к звонку, а остальное вы знаете.

Привели испанца. Он был спокоен и защищался с большим хладнокровием и присутствием духа. Он не отрицал тех слов, которые я слышал, но, согласно его объяснению, он хотел сказать только то, что на другой день, хорошенько отдохнув, он рассчитывал обыграть своего победителя. Помню, что он прибавил:

– Арагонец, когда он оскорблен, не станет откладывать месть до завтра. Если бы мне показалось, что господин Альфонс обидел меня, я тут же всадил бы ему нож в живот.

Сравнили его башмаки со следами в саду: башмаки оказались гораздо больших размеров. В довершение всего трактирщик, у которого этот человек остановился, засвидетельствовал, что он провел всю ночь, растирая и леча своего заболевшего мула. Вообще же этот арагонец был человек с хорошей репутацией, всем известный в этих краях, куда он приезжал ежегодно по торговым делам. Его отпустили, извинившись перед ним.

Я забыл еще упомянуть о показаниях слуги, – он последний видел Альфонса в живых. Это случилось в ту минуту, когда тот собирался идти к жене; подзвав слугу, он спросил его с видимым беспокойством, не знает ли он, где я нахожусь. Тот ответил, что не видел меня. Тогда Альфонс вздохнул и, помолчав с минуту, сказал: «Уж не унес ли и его дьявол?» Я спросил этого человека, был ли у г-на Альфонса на пальце бриллиантовый перстень, когда он говорил с ним. Слуга подумал немного, потом ответил, что, кажется, перстня не было, но что он не обратил на это внимания.

– Если бы перстень у него был, – поправился он, – я бы, наверное, заметил, – я был уверен, что он отдал его своей супруге.

Расспрашивая этого человека, я испытывал суеверный страх, овладевший всем домом после показаний жены Альфонса. Королевский прокурор посмотрел на меня с улыбкой, и я воздержался от дальнейших вопросов. Через несколько часов после погребения Альфонса я собрался уезжать из Илля. Коляска г-на де Пейрорада должна была отвезти меня в Перпиньян. Бедный старик, несмотря на свою слабость, пожелал проводить меня до садовой калитки. Мы молча прошли по саду, причем он еле волочил ноги, опираясь на мою руку. В минуту расставания я в последний раз бросил взгляд на Венеру. Я чувствовал, что мой хозяин, хотя и не разделял страха и отвращения, которые статуя внушила некоторым членам его семейства, все же захочет отделаться от предмета, который будет непрестанно напоминать ему о его ужасном несчастье. Мне хотелось убедить его отдать статую в музей. Я не знал, как заговорить об этом. В это время г-н де Пейрорад, заметив, что я куда-то пристально смотрю, машинально повернул голову в ту же сторону. Он увидел статую и тотчас же залился слезами. Я обнял его и, не найдя в себе силы что-нибудь ему сказать, сел в коляску. После моего отъезда я не слышал, чтобы какие-нибудь новые данные пролили свет на это таинственное происшествие.

Г-н де Пейрорад умер через несколько месяцев после смерти своего сына. Он завещал мне свои рукописи, которые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Я не нашел среди них исследования о надписях на Венере.

P. S. Мой друг г-н де П. только что сообщил мне в письме из Перпиньяна, что статуи больше не существует. Г-жа де Пейрорад после смерти мужа немедленно распорядилась перелить ее на колокол, и в этой новой форме она служит ильльской церкви. «Однако, – добавляет г-н де П., – можно подумать, что злой рок преследует владельцев этой меди. С тех пор как в Илле звонит новый колокол, виноградники уже два раза пострадали от мороза».

Перевод А. Смирнова

О. УАЙЛЬД

Кентербрийское Прибывание



I

Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость, — было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя порядочный, даже когда дело касалось сущих пустяков, не преминул, составляя купчую, предупредить мистера Отиса.

— Нас как-то не тянуло в этот замок, — сказал лорд Кентервиль, — с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Она так никогда и не оправилась. И я не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский священник, преподобный Огюстус Демпир, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

— Что ж, милорд, — ответил посол, — я не возражаю. Пусть привидение идет вместе с мебелью. Но я ведь приехал из передовой страны. У нас за деньги все можно достать, да и молодежь у нас разбитная; наши молодые люди — это лучшее украшение вашего Старого Света, и они увозят от вас самых знаменитых актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

— Боюсь, что кентервильское привидение все же существует, — сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, — хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых триста лет, — точнее сказать, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года, — и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

— Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Нет, сэр, никаких привидений нет, и законы природы, смею думать, для всех одни — даже для английской аристократии.

— Да, вы, американцы, так еще близки природе! — отозвался лорд Кентервиль, видимо не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, — я вас предупредил.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время — ее тогда еще величали мисс Лукрецией Р. Таппан с 43-й Западной улицы — славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь

дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Во многом миссис Отис не отличить было от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что у нас теперь с Америкой почти все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, – о чем он всегда сожалел, – был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрили в казино Ньюпорта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он питал слабость к гардениям и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Виргинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она прекрасно ездила на пони и, уговоривши однажды старого лорда Бильтона проскакать с нею два раза наперегонки вокруг Хайд-Парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье были дети еще моложе Виргинии – двое прелестных мальчиков-близнецов. Это были единственные, если скинуть со счета почтенного посла, убежденные республиканцы в семье, – их так часто пороли, что прозвали «Звезды и полосы».

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка доносилось до них нежное воркование лесной горлицы, упивающейся собственным голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволочло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Эмни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, молвила:

– Добро пожаловать в замок Кентервилей!

Они вошли вслед за нею в дом и, миновав великолепный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке – длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было

приготовлено к чаю. Они сняли пальто и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Эмни разливала чай, разглядывать комнату.

Миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу, возле камина, и заинтересовалась, откуда оно взялось.

– Вероятно, здесь что-то пролили? – спросила она.

– Да, сударыня, – ответила старая экономка шепотом, – здесь пролилась кровь.

– Какой ужас! – воскликнула миссис Отис. – Я не желаю, чтоб у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смойт!

Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

– Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его донныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмыслаемое пятно.

– Что за глупости! – воскликнул Вашингтон Отис. – «Непревзойденный Пятновыводитель и Образцовый Очиститель Пинкертона» уничтожит его в одну минуту.

И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. В какую-нибудь минуту от крови и следа не осталось.

«Пинкертон» не подведет! – воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству; но не успел он досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, и миссис Эмни лишилась чувств.

– Какой отвратительный климат, – заметил спокойно американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом. – Наша страна-прародительница до того перенаселена, что, видно, даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция – единственное спасение для Англии.

– Дорогой Хайрам, – сказала миссис Отис, – как быть, если она, чуть что, примется падать в обморок?

– Удержи у нее разок из жалованья, как за битье посуды, – ответил посол, – и ей больше не захочется.

И правда, через две-три секунды миссис Эмни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.

– Сэр, – сказала она, – мне доводилось видеть такое, от чего у всякого доброго христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную матрону, что они не боятся привидений, и, призвав благословенье божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованье, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась к себе в комнату.

Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.

— В «Образцовом Очистителе» сомневаться не приходится, — сказал Вашингтон. — Я его на чем только не пробовал. Выходит, здесь и в самом деле привидение поработало.

И он снова вывел пятно, а наутро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собою ключ. Теперь вся семья живейшим образом интересовалась привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намеренье вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Мейерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда.

День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой только к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях никто даже словом не обмолвился, и все были удивительно далеки от того состояния повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов. Говорили, как рассказал мне потом мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества: о бесконечном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; о значении Бостона для формирования мировой души; о преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге; о приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не заходила, а о сэре Симоне де Кентервиль никто даже не заикнулся. В одиннадцать семья удалилась на покой, и полчасу спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре, у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит — все отчетливей с каждой минутой — скрежет металла. Он встал, чиркнул спичкой и взглянул на часы. Было ровно час. Мистер Отис оставался невозмутим и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несесера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли; длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в лохмотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

— Сэр, — сказал мистер Отис, — я вынужден настоятельнейше просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последнее подтверждают наши

известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, Ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив во гнев бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стелая. Но, едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось и, прибегнув, спасения ради, к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало анализировать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю карьеру его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей; о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Вильяма Гулля от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда тот выходил из библиотеки, он задул у него свечу; о старой мадам де Тремуайак, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком, мсье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной, с бубновым валетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарлза Джемса Фокса на пятьдесят тысяч фунтов и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение. Он припомнил все жертвы своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, когда зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Стетфильд, что всегда носила на шее черную бархотку, дабы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоуспоения, которое знает всякий настоящий художник, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве Красного Рубена, или Младенца-удавленника, свой дебют в роли Сухощавого Джибона, или Кровавой Топи; припомнил и то, как потряс зрителей, когда прелестным июньским вечером играл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого заявляются в замок какие-то новомодные американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками! Такое нельзя терпеть! История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье.

III

На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли.

– Я не собираюсь обижать привидение, – сказал он, – и я не могу в данной связи промолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. – (Должен с горечью заметить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом.) – Тем не менее, – продолжал посол, – если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии», придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.

Впрочем, до конца недели их больше не потревожили, только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирали сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Случалось, оно было темно-красного цвета, случалось, киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз, чтобы помолиться своей семьей, согласно упрощенному ритуалу Свободной американской реформатской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, как нетрудно понять, весьма забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Виргиния не разделяла общего легкомыслия; она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась.

Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбегали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы, с меткостью, которая приобретает лишь благодаря долгим и упорным упражнениям на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов нацелился в него из револьвера и, согласно калифорнийскому этикету, скомандовал: «Руки вверх!» Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме крошечной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. От него, говорят, за ночь поседел парик лорда Рэйкера, и этот хохот, бесспорно, был причиной того, что три французские гувернантки леди Кентервиль заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что звонким эхом отдались старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

– Вы, кажется, не совсем здоровы? – сказала она. – Я принесла вам микстуру доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет.

Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой – талант, который принес ему заслуженную славу и воздействием коего домашний врач объяснял неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортон. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать, и в ту минуту, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали; но больше всего его огорчало то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже современные американцы почувствуют робость, узрев Привидение в Доспехах, – ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над томами изящной и усадительной поэзии коего он просиживал часами, когда Кентервили переезжали в город. Эти доспехи к тому же были его собственные. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевств-девственницы. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него, и, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки.

Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, – разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу семнадцатого августа и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб, остановившись наконец на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как раз по нем. План его был таков: первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Отиса, станет у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что это именно он взял в обычай стирать знаменитое Кентервильское Кровавое Пятно Образцовым Пинкертоновским Очистителем. Доведя этого вольнодумного, непочтительного юношу до состояния полной прострации, он затем проследует в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Отис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Виргинии он, правда, ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела, она была так мила и нежна. Здесь можно обойтись несколькими глухими стонами из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрюченными пальцами ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они замечались от привидевшихся кошмаров, а потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе позеленевшего от холода трупа и будет так стоять, пока у них зуб на зуб не перестанет попадать от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои кости, примется расхаживать по

комнате, вращая одним глазом, как полагается в роли Безгласого Даниила, или Скелета-самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого Безумного Мартина, или Сокрытой Тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.

В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота, — очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну, — но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и, только пробило полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла, ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стеля, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, и храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью; мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением.

Ему почудилось вдруг, что кто-то окликнул его, и он замер на месте, но это только собака залаяла на Красной ферме. И он продолжал свой путь, бормоча никому теперь не понятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развевал его седые космы и свертывал в неописуемо страшные складки его могильный саван. Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол; но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижимый, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное; гнусный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она, о грязных пороках, о диких злодействах. В поднятой правой руке его зажат был меч из блестящей стали. Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся восвояси. Он бежал не чуя под собою ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал он уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на узкую походную койку и спрятал голову под одеяло. Но Скоро в нем проснулась бывшая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром; он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что, в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Что-то, верно, недоброе стряслось с призраком. Свет

потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг – о, ужас! – голова покатилась по полу, туловище переломилось пополам, и он увидал, что держит в объятиях белую канифасовую занавеску, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова:

ДУХ ФИРМЫ ОТИС
Единственный подлинный
и оригинальный призрак!
Остерегайтесь подделок!
Все остальные – не настоящие!

Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели! Глаза его зажались прежним кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что не успеет шантеклер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепенения, и он вернулся к себе в комнату, горя о тщете своих упований и крахе своей надежды. Там, у себя, он просмотрел несколько самых своих любимых книг о старинном рыцарстве и узнал из них, что всякий раз, когда была произнесена эта клятва, петух пел дважды.

– Да сгубит смерть бессовестную птицу! – забормотал он. – Настанет день, когда мое копьё в твою вонзится трепетную глотку и я услышу твой предсмертный хрип.

Потом он уселся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты.

IV

Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться нервное напряжение целого месяца. Его нервы были совершенно расшатаны, он вздрагивал при малейшем шорохе. Пять дней он не выходил из комнаты и наконец махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, они, значит, недостойны его. Это низменные материалисты, совершенно неспособные оценить символический смысл спиритических феноменов. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных тел был, никто не спорит, особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенции. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что фонарем выходит в парк, и бормотать всякий вздор, и он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от сих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность

во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он, по обыкновению, от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтоб его не услышали и не увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу; надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии». Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Он чувствовал себя, правда, немного униженным, но только сначала. В конце концов благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но, как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора, а однажды, одетый для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол от входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего попранного достоинства и своих прав и в следующую ночь явиться дерзким юным школьникам в знаменитой роли Отважного Руперта, или Безголового Графа.

Он не выступал в этой роли более семидесяти лет, с тех пор как до того напугал прелестную леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек погиб вскоре на Вандсвортском лугу от шпаги лорда Кентервиля, а сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Тенбридж-Уэльсе, – так что выступление у всех, можно сказать, имело огромный успех. Но для этой роли требовался очень сложный грим, – если позволительно воспользоваться театральным термином применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного, или, выражаясь по-ученому, «естественного мира высшего порядка», – и он потерял добрых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики и один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но, в общем, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, кстати сказать, называлась «Голубой спальней» по цвету обоев и портьер), он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.

Он теперь оставил всякую надежду запугать этих невеж американцев и большею частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтоб не продуло, и с маленькой аркебузой в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и поразвлекся немного, потешаясь над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, которые заняли место фамильных портретов Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какие употребляют могильщики. Он, собственно говоря, был одет для роли Ионы Непогребенного, или Пожирателя Трупов с Чертсейского Гумна, одного из лучших образов, им созданных. Эту роль прекрасно помнили все Кентервили, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Раффордом. Было уже около четверти третьего, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы посмотреть, осталось ли что-нибудь от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, испуганно махавшие руками над головой, и завопили ему в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем; окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату – грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство пикник на морском берегу, – все кушанья были приготовлены из моллюсков; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Виргиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.

Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом, и хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое – особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Франсиса Стильтона, который поспорил однажды на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервиля; поутру лорда Стильтона нашли на полу

ломберной, разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонных лет, он мог сказать только два слова: «шестерка дубль». Эта история в свое время очень на шумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Таттля «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Легко понять поэтому, как хотелось духу доказать, что он не утратил влияния на Стильтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина была замужем en secondes nocces¹ за монсеньором де Балкли, от которого, как известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли Монах-вампир, или Бескровный Бенедиктинец, в которой решил предстать перед юным поклонником Виргинии. Он был так страшен некогда в этой роли, что когда его однажды, в роковой вечер под новый 1764 год, увидела старая леди Стартан, она испустила несколько раз дикий вопль и с ней случился удар. Она скончалась через три дня, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Виргинию.

V

Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе ото всех потихоньку по черной лестнице. Когда она пробежала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь со своим шитьем, она решила попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух! Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаянье. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Виргинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя в комнате, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

– Мне очень жаль вас, – сказала она. – Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит.

– Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, – ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним, – просто глупо. Мне положено греметь цепями, стонать в замочные

¹ Вторым браком (франц.).

скважины и разгуливать по ночам. Вы ведь об этом? Так ведь в этом весь смысл моего существования.

– Никакого тут смысла нет, и вы сами знаете, что были скверный. Миссис Эмни рассказала нам еще в первый день, когда мы сюда приехали, что вы убили свою жену.

– Допустим, – ответил дух сварливо, – но это дела семейные и никого не касаются.

– Убивать вообще нехорошо, – сказала Виргиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии.

– Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм! Моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Вот хотя бы такое: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка, и как вы думаете, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать, – дело прошлое. И все же, хоть я и убил жену, со стороны моих шуринов было не очень любезно заморить меня голодом.

– Они заморили вас голодом? О господин дух, то есть, хотела сказать, сэр Симон, вы, наверно, хотите кушать? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста! .

– Нет, благодарю вас. Я давно ничего не ем; но все же вы очень добры, и вообще вы гораздо лучше всей своей гадкой, невоспитанной, вульгарной и бесечной семьи.

– Не смейте так говорить! – крикнула Виргиния, топнув ножкой. – Вы сами невоспитанный, гадкий и вульгарный, а что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это глупое пятно. Сначала вы забрали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше рисовать закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром; и напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навевает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась; и вообще все это просто смешно: ну где видали вы кровь изумрудного цвета?

– А что мне оставалось делать? – сказал дух, уже и не пытаясь спорить. – Теперь непросто достать настоящую кровь, и поскольку ваш братец пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я счел возможным воспользоваться вашими красками. А цвет, знаете, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют.

– Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да и получились немного. Отец мой охотно устроит вам бесплатный билет, и хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможене пропустят без всяких. Все чиновники там – демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Ведь многие, сама знаю, дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение – куда больше.

– Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

– Потому что там нет ничего допотопного и диковинного? – съязвила Виргиния.

– Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного? А ваши обычаи?

– Прощайте! Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.

– Не покидайте меня, мисс Виргиния! – воскликнул он. – Я так одинок, так несчастен! Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.

– Что за глупости! Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это грудной младенец сумеет.

– Триста лет не знал я сна, – промолвил печально дух, и прекрасные голубые глаза Виргинии широко раскрылись от удивления. – Триста лет я не спал, и я так истомился душой.

Виргиния сделалась вдруг печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое, морщинистое лицо.

– Бедный мой призрак, – прошептала она, – разве негде тебе лечь и уснуть?

– Далеко-далеко, за сосновым бором, – ответил он тихим, мечтательным голосом, – есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. До рассвета поет соловей, и холодная хрустальная луна глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.

Глаза Виргинии заволоклись слезами, и она уткнула лицо в ладони.

– Это Сад Смерти? – прошептала она.

– Да, Смерти. Смерть, должно быть, прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобою колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В ваших силах помочь мне. Вам легко отворять врата Смерти, ибо с вами Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Виргиния вздрогнула, точно холод пронизал ее; воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.

И опять заговорил дух, и голос его был как вздохи ветра.

– Вы читали древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

– О, сколько раз! – воскликнула девочка, вскинув головку. – Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек:

Когда расплечется дитя,
И расцветет заглохший куст,
И златокудрая шутя
Сорвет молитву с грешных уст,
Тогда истерзанный тоской
Сэр Кентервиль найдет покой¹.

Я только не понимаю, что все это значит.

– Это значит, – печально промолвил дух, – что вы должны оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если вы всегда были нежной, доброй и любящей, Ангел

¹ Перевод Н. Воропель.

Смерти смиляется надо мной. Страшные чудовища явятся вам в ночи и станут шептать вам злые слова, но они не сумеют вам повредить, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.

Виргиния не отвечала, и, видя, как низко опустила она свою златокудрую головку, дух начал в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем.

— Я не боюсь, — сказала она решительно. — Я попрошу Ангела помиловать вас.

Вскрикнув чуть слышно от радости, он встал и, склонившись со старомодной грацией, поднес ее руку к губам. Пальцы его были холодны как лед, губы жгли как огонь, но Виргиния не дрогнула и не отступила, и он повел ее через полутемную залу. Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтоб она вернулась назад. «Вернись, маленькая Виргиния! — кричали они. — Вернись!»

Но дух крепче сжал ее руку, и она закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: берегись, маленькая Виргиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух скользил вперед все быстрее, и Виргиния не слушала их.

Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почуствовала, как кто-то потянул ее за платье.

— Скорее, скорее! — крикнул дух. — Не то будет поздно.

И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.

VI

Когда минут через десять гонг зазвонил к чаю и Виргиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Виргиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не явилось никаких опасений. Но, когда пробило шесть, а Виргинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Виргинии. Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блэкфелльский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было, и, судя по тому, что костер еще теплился и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побегал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или

цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом в Аскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом.

— Простите меня, мистер Отис, — сказал мальчик, переводя дух, — но я не могу обедать, пока не съестся Виргиния. Вы не сердитесь, но если б в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего бы этого не случилось. Ведь вы не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не уеду!

Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого сорванца. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.

— Что ж, ничего не поделаешь, — сказал он, — коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой. Но только я куплю вам в Аскоте шляпу.

— Не нужно мне шляпы! Мне нужна Виргиния! — засмеялся маленький герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по своим приметам на Виргинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бексли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Они разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, проехав лугом, повернули домой. До замка они добрались только часам к одиннадцати, усталые, разбитые, готовые отчаяться. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями: в парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Виргинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане и сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке, — все напрасно. Было ясно, что в эту по крайней мере ночь Виргинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опутив голову, пошли к дому, а грум вел за ними обеих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги; старуха домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара что-то вдруг затрещало и послышался громкий

возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, звуки неземной музыки полились в воздухе; и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели и, бледная как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Виргиния.

В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее, маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.

– Где ты была, дитя мое? – строго спросил мистер Отис: он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. – Мы с Сесилем объехали пол-Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами.

– Дурачить можно только духа, только духа! – вопили близнецы, прыгая как безумные.

– Милая моя, родная, нашлась, благодаренье богу, – твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны, – никогда больше не покидай меня.

– Папа, – сказала Виргиния спокойно, – я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезна и невозмутима. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику; Вашингтон со свечой, которую он взял со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери, на больших петлях, обитой ржавыми гвоздями. Виргиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой камерке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью исполинский скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковши, поставленных так, чтоб их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горсточка пыли. Виргиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

– Глядите! – воскликнул вдруг один из близнецов, выглянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится камерка. – Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело. Сейчас луна, и мне хорошо видны цветы.

– Бог простил его! – сказала Виргиния, встала, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом.

– Вы ангел! – воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее.

VII

Четыре дня спустя после этих удивительных событий, за час до полуночи, из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный страусовый султан;

богатый пурпурный покров с вытканым золотом гербом Кентервилей был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей. Процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Виргинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Эмни – без слов было ясно, что, поскольку привидение пугало ее больше пятидесяти лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, и преподобный Огюстус Демпир с большим чувством прочитал заупокойную. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервилей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Виргиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна выплыла тихо из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Виргиния вспомнила про Сад Смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово.

На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Виргинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе – редкостный образец работы XVI века; их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их.

– Милорд, – сказал он, – я знаю, что в вашей стране закон о «мертвой руке» распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и для меня не составляет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. Посему я прошу вас забрать их с собою в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при несколько необычных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава богу, не слишком интересуется всякими дорогими безделушками. К тому же миссис Отис поставила меня в известность, – а она, могу похвастаться, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается в искусстве, – что за эти безделушки можно выручить солидную сумму, и я, как вы сами понимаете, никогда не соглашусь, чтобы они перешли к нашей семье. Да и вообще вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания достоинства британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, неувядаемых принципах республиканской простоты. Не могу, впрочем, умолчать о том, что Виргинии очень хотелось бы сохранить, с вашего позволения, шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же, со своей стороны, крайне удивлен, признать, что моя дочь проявляет такой интерес к средневековой, и способен объяснить это лишь тем, что Виргиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теребить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис кончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку.

– Дорогой сэр, – сказал он, – ваша прелестная дочь немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной, и если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник через две недели, самое позднее, вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе, а об этих драгоценностях нигде нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворецкого, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Виргиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением, и к вам отошло тем самым все, что принадлежало привидению. И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние.

Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пэр остался непоколебим и в конце концов уговорил посла оставить дочери драгоценности; когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Ибо Виргиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все доблестные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из семи своих незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным примкнул поначалу и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу, он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, «опасался, что расслабляющее влияние живущей наслаждениями аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Но его скоро уговорили, и, когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви св. Георгия, что на Ганновер-сквер, во всей Англии, мне кажется, не сыскать было человека более гордого собой.

Когда закончился медовый месяц, герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона и под конец решили просто вытесать на ней его инициалы и стихи, написанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, поставив немного над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковь. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал:

– Виргиния, у жены не должно быть никаких секретов от мужа.

– А у меня и нет от тебя никаких, секретов, дорогой Сесиль.

– Нет есть, – ответил он с улыбкой. – Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

– Я никому этого не рассказывала, Сесиль, – сказала Виргиния серьезно.

– Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

– Не спрашивай меня об этом, Сесиль, я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэр Симон! Я столько ему обязана! Нет, не смейся, Сесиль, это в самом деле так. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

– Пусть эта тайна останется твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне, – шепнул он.

– Оно всегда было твоим, Сесиль.

– Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям? Правда?

Виргиния вспыхнула.

Перевод Ю. Кагарлицкого

А. БИРС



Человек и змея

Доподлинно известно и сие подтверждено также многими свидетельствами, противу коих не станут спорить ни мудрецы, ни мужи науки, что глазу змеиному присущ магнетизм и буде кто, влекомый противу воли своей, подпадет под действие оного магнетизма, тот погибнет жалкою смертью, будучи укушен сим гадом.

Растянувшись на диване в халате и комнатных туфлях, Харкер Брайтон улыбался, читая вышеприведенное место в «Чудесах науки» старика Морристера.

«Единственное чудо заключается здесь в том, – подумал он, – что во времена Морристера мудрецы и мужи науки могли верить в такую чепуху, которую в наши дни отвергают даже круглые невежды».

Последовала вереница размышлений – Брайтон был человек мыслящий, – и он машинально опустил книгу, не меняя направления взгляда. Как только книга исчезла из поля зрения Брайтона, какая-то вещь, находившаяся в полутемном углу комнаты, пробудила его внимание к окружающей обстановке. В темноте, под кроватью, он увидел две светящиеся точки, на расстоянии примерно дюйма одна от другой. Возможно, что газовый рожок у него над головой бросал отблеск на шляпки гвоздей; он не стал задумываться над этим и снова взялся за книгу. Через секунду, повинувшись какому-то импульсу, в рассмотрение которого Брайтон не стал вдаваться, он снова опустил книгу и поискал глазами то место. Светящиеся точки были все там же. Они как будто стали ярче и светились зеленоватым огнем, чего он сначала не заметил. Ему показалось также, будто они немного сдвинулись с места, словно приблизились к дивану. Однако тень все еще настолько скрывала их, что его невнимательный взгляд не мог определить ни происхождение, ни качество этих точек, и он снова стал читать.

Но вот что-то в самом тексте навело Брайтона на мысль, которая заставила его вздрогнуть и в третий раз опустить книгу на диван, откуда, выскользнув у него из руки, она упала на пол обложкой вверх. Приподнявшись, Брайтон пристально вглядывался в темноту под кроватью, где блестящие точки горели, как ему теперь казалось, еще более ярким огнем. Его внимание окончательно пробудилось, взгляд стал напряженным, настойчивым. И взгляд этот обнаружил под кроватью, в ее изножье, свернувшуюся кольцами большую змею – светящиеся точки были ее глаза. Омерзительная плоская голова лежала от внутреннего кольца к внешнему и была обращена прямо к Брайтону. Очертание нижней челюсти – широкой и грубой – и дегенеративный, приплюснутый лоб позволяли определить направление злобного взгляда.

Глаза змеи были уже не просто светящимися точками; они смотрели в его глаза взглядом осмысленным и полным ненависти.

2

Появление змеи в спальне современной комфортабельной городской квартиры, к счастью, не такой уж заурядный случай, чтобы всякие разъяснения показались здесь излишними. Харкер Брайтон – тридцатипятилетний холостяк, большой эрудит, человек завидного здоровья, праздный, богатый, спортсмен-любитель и личность весьма популярная в обществе – вернулся в Сан-Франциско из путешествия по странам отдаленным и малоизвестным. Лишения последних лет сделали вкусы Брайтона – всегда несколько привередливые – еще более изысканными, и так как даже отель «Замок» был не в состоянии удовлетворить их полностью, он охотно воспользовался гостеприимством своего приятеля, известного ученого, доктора Друринга. Особняк доктора Друринга – большой, старомодный, построенный в той части города, которая считается теперь нефешенебельной, – хранил в своем внешнем облике выражение горделивой отчужденности. Он словно не желал иметь ничего общего с соседями, изменившими его окружение, и отличался некоторой причудливостью нрава – обычным следствием такой обособленности. Одной из этих причуд было «крыло», бросающееся в глаза своей несообразностью с точки зрения архитектуры и весьма оригинальное в смысле использования его, так как «крыло» служило одновременно лабораторией, зверинцем и музеем. Здесь-то доктор и давал простор своим научным стремлениям, изучая те формы животного царства, которые вызвали у него интерес и соответствовали его вкусам, склоняющимся, надо признать, скорее к низшим организмам. Для того чтобы завоевать его взыскательную душу, представители высших типов должны были сохранить хотя бы некоторые рудиментарные особенности, роднящие их с такими «чудищами первобытных дебрей», как жабы и змеи. Врожденные склонности явно влекли его к рептилиям; он любил вульгарных детищ природы и называл себя «Золя от зоологии».

Жена и дочери доктора Друринга, не разделяющие его просвещенной любознательности к жизни и повадкам наших злосчастных собратьев, с ненужной суровостью изгонялись из помещения, которое доктор называл «змеевником», и были вынуждены довольствоваться обществом себе подобных; впрочем, смягчая их тяжкую участь, Друринг уделял им из своего немалого состояния достаточно, чтобы они могли превзойти пресмыкающихся пышностью жилища и блистать недостижимым для тех великолепием.

В отношении архитектуры и обстановки змеевник отличался суровой простотой, соответствующей подневольному образу жизни его обитателей, многим из которых нельзя было предоставить свободу, необходимую для полного наслаждения роскошью, так как обитатели эти имели одну весьма неудобную особенность, а именно – были живыми существами. Впрочем, в своем жилище они чувствовали стеснение в свободе лишь настолько, насколько это было неизбежно, чтобы защитить их же самих от пагубной привычки пожирать друг друга; и, как предусмотрительно сообщили

Брайтону, в доме уже привыкли к тому, что некоторых обитателей змеевника не раз обнаруживали в таких местах усадьбы, где они сами затруднились бы объяснить свое появление. Несмотря на соседство змеевника и связанные с ним мрачные ассоциации, в сущности говоря, мало трогавшие Брайтона, жизнь в особняке Друринга была ему вполне по душе.

3

Если не считать крайнего удивления и дрожи, вызванной чувством гадливости, мистер Брайтон не так уж взволновался. Его первой мыслью было позвонить и вызвать прислугу, но хотя сонетка висела совсем близко, он не протянул к ней руку; ему пришло в голову, что такое движение заставит его самого усомниться – не страх ли это, тогда как страха он, разумеется, не испытывал. Нелепость создавшегося положения казалась ему куда хуже, чем опасность, которой оно грозило; положение было пренеприятное, но при этом абсурдное.

Пресмыкающееся принадлежало к какому-то неизвестному Брайтону виду. О длине его он мог только догадываться; туловище, в той части, которая виднелась из-под кровати, было толщиной с его руку. Чем эта змея опасна, если она вообще опасна? Может быть, она ядовита? Может быть, это констриктор? Запас знаний Брайтона о предупредительных сигналах, имеющих в распоряжении природы, не давал ему возможности ответить на это; он никогда еще не занимался расшифровкой ее кода.

Пусть эта тварь безвредна, вид ее, во всяком случае, отвратителен. Она была *de trop* – чем-то несущим, в ней было что-то наглост. Драгоценный камень не стоил своей оправы. Даже варварский вкус нашего времени и нашей страны, загрозивший стенам этой комнаты картинами, пол – мебелью, а мебель – всякого рода безделушками, не рассчитывал на появление здесь выходцев из джунглей. Кроме того – невыносимая мысль! – дыхание этой твари распространялось в воздухе, которым дышал он сам.

Мысли эти с большей или меньшей четкостью возникали в мозгу Брайтона и побуждали его к действию. Этот процесс именуется у нас размышлением и принятием того или иного решения. В результате мы оказываемся разумны или неразумны. Так и увядший лист, подхваченный осенним ветром, проявляет по сравнению со своими собратьями большую или меньшую сообразительность, падая на землю или же в озеро. Секрет человеческих действий – секрет открытый: что-то заставляет наши мускулы сокращаться. И так ли уж важен тот факт, что подготовительные молекулярные изменения в них мы называем волей?

Брайтон встал с намерением незаметно податься назад, не потревожив змею, и, если удастся, выйти в дверь. Так люди отступают перед величием, ибо всякое величие властно, а во всякой власти таится нечто грозное. Брайтон знал, что он и пятак найдёт дверь. Пусть чудовище последует за ним – хозяева, в угоду своему вкусу увешавшие стены картинами, позаботились и о щите со смертоносным восточным оружием, откуда можно будет схватить то, которое окажется наиболее подходящим сейчас. Тем временем беспощадная злоба все больше и больше разгоралась в глазах змеи.

Брайтон поднял правую ногу, прежде чем шагнуть назад. В ту же минуту он почувствовал, что не сможет заставить себя сделать это.

«Меня считают человеком отважным, — подумал он, — значит, отвага не что иное, как гордость? Неужели я способен отступить только потому, что никто не увидит моего позора?»

Он опирался правой рукой о спинку стула, так и не опустив ногу на пол.

— Глупости! — сказал он вслух. — Не такой уж я трус, чтобы не признаться самому себе, что мне страшно.

Он поднял ногу чуть выше, слегка согнув колено, и резким движением опустил ее на пол — на вершок впереди левой. Он не мог понять, как это случилось. Такой же результат дала попытка сделать шаг левой ногой; она очутилась впереди правой. Пальцы, лежавшие на спинке, сжались; рука вытянулась назад, не выпуская стула. Можно было подумать, что Брайтон ни за что не хочет расстаться со своей опорой. Свиная змеиная голова по-прежнему лежала от внутреннего кольца к внешнему. Змея не двинулась, но глаза ее были теперь словно электрические искры, дробившиеся на множество светящихся игл.

Лицо человека посерело. Он снова сделал шаг вперед, затем второй, волоча за собой стул, и наконец со стуком повалил его на пол. Человек застонал; змея не издала ни звука, не шевельнулась, но глаза ее были словно два ослепительных солнца. И из-за этих солнц самого пресмыкающегося не было видно. Радужные круги расходились от них и, достигнув предела, один за другим лопались, словно мыльные пузыри; казалось, круги эти касаются его лица и тотчас же уплывают в неизмеримую даль. Где-то глухо бил большой барабан, и сквозь барабанную дробь изредка пробивалась музыка, неизъяснимо нежная, словно звуки золотой арфы. Он узнал мелодию, которая раздавалась на рассвете у статуи Мемнона, и ему почудилось, что он стоит в тростниках на берегу Нила, стараясь уловить сквозь безмолвие столетий этот бессмертный гимн.

Музыка смолкла; вернее, она мало-помалу, незаметно для слуха, перешла в отдаленный гул уходящей грозы. Перед ним расстилалась равнина, сверкающая в солнечных лучах и дождевых каплях, равнина в полукружье ослепительной радуги, которая замыкала в своей гигантской арке множество городов. В самом центре этой равнины громадная змея, увенчанная короной, подымала голову из клубка колец и смотрела на Брайтона глазами его покойной матери. И вдруг эта волшебная картина взвилась кверху, как театральная декорация, и исчезла в мгновение ока. Что-то с силой ударило его в лицо и грудь. Это он повалился на пол; из переломанного носа и рассеченных губ хлестала кровь. Несколько минут он лежал оглушенный, с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в пол. Потом очнулся и понял, что падение, переместив его взгляд, нарушило силу змеиных чар. Вот теперь, отводя глаза в сторону, он сумеет выбраться из комнаты. Но мысль о змее, лежавшей в нескольких футах от его головы и, может быть, готовой к прыжку, готовой обвить его шею своими кольцами, — мысль эта была невыносима! Он поднял голову, снова взглянул в эти страшные глаза и снова был в плену.

Змея не двигалась; теперь она, казалось, теряла власть над его воображением; величественное зрелище, возникшее перед ним несколько мгновений назад, больше не появлялось. Черные бусины глаз, как и прежде, с

невыразимой злобой поблескивали из-под идиотически низкого лба. Словно тварь, уверенная в собственном торжестве, решила оставить свои гибельные чары.

И тут произошло нечто страшное. Человек, распростертый на полу всего лишь в двух шагах от своего врага, приподнялся на локтях, запрокинул голову, вытянул ноги. Лицо его в пятнах крови было мертвенно-бледно; широко открытые глаза выступали из орбит. На губах появилась пена; она клочьями спадала на пол. По телу его пробегала судорога, оно извивалось по-змеиному. Он прогнул поясницу, передвигая ноги из стороны в сторону. Каждое движение все больше и больше приближало его к змее. Он вытянул руки, стараясь оттолкнуться назад, и все-таки не переставал подтягиваться на локтях все вперед и вперед.

4

Доктор Друринг и его жена сидели в библиотеке. Ученый был на редкость хорошо настроен.

– Я только что выменял у одного коллекционера великолепный экземпляр *Ophiophagus'a*, – сказал он.

– А что это такое? – довольно вяло осведомилась его супруга.

– Боже милостивый, какое глубочайшее невежество! Дорогая моя, человек, обнаруживший после женитьбы, что его жена не знает греческого языка, имеет право требовать развода. *Ophiophagus* – это змея, пожирающая других змей.

– Будем надеяться, что она пожрет всех твоих, – сказала жена, рассеянно переставляя лампу. – Но как ей это удастся? Она очаровывает их?

– Как это на тебя похоже, дорогая, – сказал доктор с притворным возмущением. – Ты же прекрасно знаешь, что меня раздражает малейший намек на эти нелепые бредни о гипнотической силе змей.

Разговор их был прерван оглушительным воплем, пронесшимся в тишине дома, словно голос демона, возопившего в могиле. Он повторился еще и еще раз с ужасающей ясностью. Доктор и его жена вскочили на ноги, он – озадаченный, она – бледная, онемевшая от ужаса. Отголосок последнего вопля еще не успел затихнуть, как доктор выбежал из комнаты и кинулся вверх по лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки. В коридоре перед комнатой Брайтона он столкнулся со слугами, прибежавшими с верхнего этажа. Все вместе, не постучавшись, они ворвались в комнату. Дверь была не заперта и сразу же распахнулась. Брайтон лежал ничком на полу, мертвый. Его голова и руки прятались под изножьем кровати. Они оттащили тело назад и перевернули его на спину. Лицо мертвеца было перепачкано кровью и пеной, широко раскрытые глаза почти вышли из орбит. Ужасное зрелище!

– Разрыв сердца, – сказал ученый, опускаясь на колени и кладя ладонь мертвецу на грудь. При этом он случайно взглянул под кровать. – Бог мой! Каким образом это сюда попало?

Он протянул руку, вытащил из-под кровати змею и отшвырнул ее, все еще свернувшуюся кольцами, на середину комнаты, откуда она с резким шуршащим звуком пролетела по паркету до стены и так и осталась лежать там.

Это было змеиное чучело; вместо глаз в голове у него сидели две башмачные пуговицы.

Перевод Н. Волжиной

Тайна долины Макарджера

Милях в девяти от Индийского холма, на северо-западе, лежит долина Макарджера. Это, собственно, даже и не долина, а просто ложбинка между двумя невысокими лесистыми склонами. Расстояние от устья до верховьев (ведь долины, как и реки, имеют свое определенное строение) не превышает двух миль, а ложе в самом широком месте чуть больше дюжины ярдов. Всю ширину долины занимает небольшой ручей, полноводный в зимнюю пору и высыхающий ранней весной; так что лишь водное русло отделяет друг от друга два пологих склона, заросших непроходимым колючим кустарником и толокнянкой. Ни одна живая душа не заглядывает в долину Макарджера, разве только случайно забредет сюда кто-нибудь из наиболее предприимчивых окрестных охотников. За пять миль от этого места даже название его никому не известно. Впрочем, в тех краях можно найти много безымянных географических достопримечательностей, гораздо более интересных, чем долина Макарджера, и вы напрасно стали бы расспрашивать местных жителей о происхождении именно этого названия.

Если двигаться от устья в глубь долины, то на полпути можно обнаружить еще одну долину с коротким сухим ложем, перерезывающую горный склон справа. Пересечение двух долин образует площадку в два-три акра. На ней несколько лет назад находился полуразвалившийся дощатый домик, состоявший всего из одной комнаты. Каким образом удалось построить хижину, пусть даже незатейливую и маленькую, в столь неприступном месте, — это загадка, разрешение которой утолило бы ваше любопытство, но едва ли принесло бы вам какую-либо пользу. Возможно, нынешнее ложе ручья было когда-то дорогой. Известно только, что в этой долине одно время велись довольно тщательные горные изыскания, а стало быть, сюда должны были каким-то образом добираться рудокопы и вьючные животные с инструментом и продовольствием. По всей вероятности, прибыль от разработок не оправдывала тех затрат, которые понадобились бы на то, чтобы соединить долину Макарджера с каким-нибудь центром цивилизации, знаменитым своим лесопильным заводом. Как бы там ни было, в долине сохранился домик, или, вернее, значительная часть его. В хижине отсутствовали дверь и окно, а сложенная из камней и глины труба превратилась в непривлекательную бесформенную грудку, густо заросшую дерном. Скучная мебель, которая, вероятно, находилась когда-то в домике, пошла на топливо для охотничьих костров, так же как и большая часть нижних досок обшивки. Эта же судьба постигла, должно быть, и колодезный сруб, ибо в то время, о котором идет речь, от колодца оставалась лишь довольно широкая, но не слишком глубокая яма неподалеку от хижины.

Однажды летним днем 1874 года я проходил долину Макарджера, двигаясь по высохшему руслу ручья из другой, более узкой долины. Я охотился на

перепелов, и в сумке у меня лежало уже около дюжины птиц, когда я достиг описываемой хижины, о существовании которой доселе и не подозревал. Бегло осмотрев разрушенный домик, я продолжал охоту, и так как мне на сей раз необыкновенно везло, я задержался в этой долине почти до заката солнца. Тут только я вспомнил, что ушел довольно далеко от человеческого жилья и не успею найти пристанище до наступления ночи. Но в моей охотничьей сумке было вдоволь еды, а старый дом мог вполне послужить мне приютом, если он вообще требуется в теплую и сухую ночь в горах Сьерра-Невады, где можно без всяких одеял отлично выспаться на ложе из сосновой хвои. Я люблю одиночество, мне нравятся летние ночи, и потому я без особых колебаний решил разбить здесь лагерь. До наступления темноты у меня уже готова была в углу комнаты постель из веток и листьев, а на огне жарился перепел. Из разрушенного очага тянуло дымом, пламя мягко освещало комнату. Сидя за скромным ужином из дичи и допивая остатки вина, которым мне, за неимением воды, весь день пришлось утолять жажду, я наслаждался удовольствием и покоем, какие не всегда доставляет нам даже более изысканный стол и комфортабельное жилище.

И тем не менее что-то было не так. Я ощущал удовольствие и покой, но не чувствовал себя в безопасности. Я поймал себя на том, что чаще, чем нужно, посматриваю на пустые проемы окна и двери. Глядя в черноту ночи, я не мог избавиться от какой-то непонятной тревоги. Воображение мое наполняло мир, лежащий за пределами хижины, враждебными мне существами – реальными и сверхъестественными. Самыми главными среди них были медведь гризли, который, как я знал, все еще встречается в тех местах, и призраки, которых, как я имел все основания думать, едва ли можно было здесь встретить. К сожалению, наши чувства не всегда считаются с теорией вероятности, и меня в этот вечер одинаково страшило как возможное, так и невозможное.

Каждый, кому приходилось когда-либо бывать в подобной обстановке, вероятно, замечал, что по ночам боязнь действительной и воображаемой опасности не так велика под открытым небом, как в доме с распахнутой дверью. Я понял это, когда лежал на постели из листьев в углу комнаты, следя за медленно догорающим огнем. И как только в очаге угасла последняя искра, я, схватив лежавшее рядом ружье, направил дуло на теперь уже совершенно невидимый дверной проем. Палец мой лежал на взведенном курке, дыхание замерло, каждый мускул во мне был напряжен. Спустя некоторое время я отложил ружье, испытывая стыд и унижение. Чего мне пугаться? И с какой стати? Мне, которому

Лик ночи более знаком,
чем лик людской...

Мне, который, по своей врожденной склонности к суевериям, свойственной в той или иной степени любому из нас, всегда умел находить особую прелесть и очарование в одиночестве, мраке и безмолвии! Мой бессмысленный страх был для меня загадкой, и, размышляя над ней, я незаметно погрузился в дремоту. И тут я увидел сон.

Я находился в большом городе, в чужой стране. Люди здесь были какой-то родственной мне нации и лишь незначительно отличались по одежде и языку. И все же я не мог сказать, кто они такие. Я воспринимал их смутно, как сквозь

туман. В центре города высился огромный замок. Я знал, как он называется, но не мог выговорить названия. Я шел какими-то улицами. Они были то широкие и прямые, с большими современными зданиями, то мрачные и извилистые, зажатые между островерхими старинными строениями. Нависающие верхние этажи, украшенные искусной резьбой по дереву и камню, почти сходились у меня над головой.

Я искал кого-то, кого никогда не видел, но тем не менее я был уверен, что, найдя, сразу же узнаю его. Поиски мои не были бесцельными или беспорядочными. В них была определенная методическая последовательность. Я без колебаний сворачивал с одной улицы на другую и, нисколько не боясь заблудиться, петлял по лабиринту узких переулков.

Наконец я остановился перед низенькой дверью скромного каменного домика, по всей вероятности жилища какого-нибудь ремесленника из тех, что побогаче. Я вошел не постучавшись. В комнате, довольно скудно обставленной и освещенной единственным окном из ромбовидных стекол, находились двое — мужчина и женщина. Они не обратили ни малейшего внимания на мое вторжение — во сне такие вещи кажутся вполне естественными. Мужчина и женщина не разговаривали между собою; они просто сидели, угрюмые и неподвижные, в разных углах комнаты.

Женщина была молодая и довольно полная. Она отличалась какой-то строгой красотой, у нее были прекрасные большие глаза. Весь ее облик чрезвычайно живо запечатлелся в моей памяти, но лица ее я не запомнил: во сне человек не замечает таких деталей. На плечи женщины был наброшен клетчатый плед. Мужчина выглядел гораздо старше ее. Его смуглое свирепое лицо казалось еще более отталкивающим из-за длинного шрама, тянувшегося наискось от виска до черных усов. Во сне мне казалось, что шрам не врезался в лицо, а точно маячит перед ним — по-иному я не могу это выразить — как нечто самостоятельное. В тот самый момент, как я увидел эту пару, я понял, что они муж и жена.

Что произошло дальше, я помню смутно. Все вдруг спуталось, смешалось. Очевидно, это были проблески пробуждающегося сознания. Казалось, картина моего сна и мое реальное окружение соединились, накладываясь одно на другое, пока наконец первое, постепенно бледнея, не исчезло совсем. И тогда я окончательно проснулся в заброшенной хижине, полностью осознав, где я и что со мной.

Мои глупые страхи исчезли. Открыв глаза, я увидел, что огонь не погас, а, напротив, разгорелся с новой силой от упавшей в очаг ветви. В хижине опять стало светло. Я, должно быть, задремал всего на несколько минут, но мой, в общем довольно банальный, сон почему-то произвел на меня сильное впечатление, и мне совершенно расхотелось спать. Вскоре я встал, сгреб в кучу тлеющие угли и, закурив трубку, принялся самым нелепым образом рассуждать сам с собою над тем, что мне пригрезилось.

В то время я затруднился бы сказать, почему этот сон представлялся мне достойным внимания. Стоило мне лишь серьезно вдуматься в него, как я узнал город моего сна. Это был Эдинбург. Я никогда в нем не бывал. И если этот сон был воспоминанием, то лишь воспоминанием об увиденном на фотографиях или прочитанном в книгах. То, что я узнал город, почему-то глубоко поразило меня. Что-то в моем сознании, вопреки рассудку и воле, твердило мне, что все

это имеет чрезвычайно важное значение. И та же непонятная сила приобрела власть над моей речью.

– Ну конечно, – громко произнес я совершенно помимо своей воли, – Мак Грегори, должно быть, приехали сюда из Эдинбурга.

В тот момент ни слова эти, ни то, что я их произнес, не вызвали у меня ни малейшего удивления. Казалось вполне естественным, что мне знакомы имена увиденных во сне людей и известна их история. Но вскоре нелепость этих рассуждений дошла до моего сознания. Я громко рассмеялся, выбил из трубки золу и снова растянулся на своем ложе из веток и листьев. Я лежал, рассеянно глядя на догорающий огонь, и не думал больше ни о моем сне, ни о том, что меня окружало. Наконец последний язычок пламени вспыхнул, вытянулся вверх и, отделившись от тлеющих углей, растаял в воздухе. Наступила полная темнота.

Не успел померкнуть последний отблеск огня, как в то же мгновение послышался глухой стук, точно от падения тяжелого тела, и пол подо мною задрожал. Я рывком сел и стал ощупью искать лежавшее рядом ружье. Мне показалось, что какой-то дикий зверь прыгнул в хижину через окно. Шаткий домишко все еще содрогался, когда я вдруг услышал звуки ударов, шарканье ног по полу, а затем, совсем близко от меня, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки – пронзительный крик женщины, выдававший смертельную муку. Такого страшного вопля мне никогда не доводилось слышать. Он буквально парализовал меня. Некоторое время я не ощущал ничего, кроме охватившего меня ужаса. К счастью, в этот момент пальцы мои нащупали ружье, и знакомый холодок ствола несколько успокоил меня. Я вскочил на ноги и, напрягая зрение, стал вглядываться во тьму. Неистовые вопли умолкли, но вместо этого я услышал нечто еще более жуткое – хрипы и тяжелое дыхание умирающего существа!

Когда глаза мои привыкли к темноте, я стал различать при слабом свете тлеющих углей очертания темных провалов двери и окна. Затем явственно проступили во мраке стены и пол, и наконец я смог разглядеть всю комнату, все ее углы. Но кругом было пусто. Тишина больше ничем не нарушалась.

Слегка дрожащей рукой я кое-как развел огонь (другая рука все еще сжимала ружье) и снова внимательно исследовал помещение. Нигде не было ни малейших признаков того, что сюда кто-то заходил. На пыльном полу отпечатались следы только моих башмаков; никаких других следов не было видно. Я снова раскурил трубку и, отодрав от внутренней стены несколько досок, – выйти в темноте за дверь я не решился, – подбросил в огонь топлива. Весь остаток ночи я просидел у очага, пыхтя трубкой, размышляя и поддерживая огонь. Ни за какие блага в мире не дал бы я теперь снова погаснуть этому маленькому язычку пламени.

Спустя несколько лет я встретился в Сакраменто с неким Морганом. У меня было к нему рекомендательное письмо от друга из Сан-Франциско. Обедая у него, я заметил на стенах различные трофеи, свидетельствовавшие о том, что хозяин дома – заядлый охотник. Оказалось, что так оно и было. Рассказывая о своих охотничьих подвигах, Морган упомянул о краях, где со мною произошла когда-то странная история.

– Мистер Морган, – внезапно спросил я, – не приходилось ли вам слышать о местности, которая называется долиной Макарджера?

– Еще бы! – ответил он. – Ведь это я в прошлом году нашел там скелет и поместил об этом сообщение в газетах.

Мне про это ничего не было известно. Очевидно, сообщение появилось в тот период, когда я находился на Востоке.

– Кстати, – заметил Морган, – название долины не совсем точно, ее следовало бы назвать долиной Мак-Грегора... Дорогая, – обратился он к жене, – мистер Элдерсон расплескал немного свое вино.

Это было слишком мягко сказано. Бокал с вином просто-напросто выпал у меня из рук.

– Когда-то в этой долине стояла старая хижина, – продолжал мистер Морган, когда беспорядок, причиненный моей неловкостью, был ликвидирован. – Но незадолго до моего появления в тех местах домик был взорван; вернее, он был начисто уничтожен взрывом. Повсюду были раскиданы обломки дерева. Доски пола разошлись, и в щели между двумя уцелевшими половицами я и мой спутник нашли обрывок клетчатого пледа. Присмотревшись, мы увидели, что он обернут вокруг плеч женского трупа, от которого остался лишь скелет, кое-где покрытый клочьями одежды и ссохшейся коричневой кожи. Однако пощадим чувства миссис Морган, – с улыбочкой прервал себя хозяин дома.

И в самом деле, эта леди, слушая рассказ, обнаруживала скорее отвращение, чем сочувствие.

– Тем не менее необходимо добавить, – продолжал мистер Морган, – что череп был проломлен в нескольких местах каким-то тупым орудием. И само это орудие – рукоятка кайлы, покрытая пятнами крови, – лежало тут же, под досками пола.

Мистер Морган обернулся к жене:

– Прости меня, дорогая, – сказал он с подчеркнутой торжественностью, – за перечисление всех этих отвратительных подробностей естественного, хотя и прискорбного, эпизода супружеской ссоры, безусловно вызванной непослушанием несчастной жены.

– Мне давно уже следовало не обращать на это внимания, – хладнокровно ответила она. – Ведь ты столько раз просил меня о том же и в тех же самых выражениях.

Мне показалось, что мистер Морган обрадовался возможности продолжать рассказ.

– На основании этих, а также ряда других фактов понятия пришли к заключению, что покойная Джанет Мак-Грегор скончалась от ударов, нанесенных ей неизвестным лицом. Однако было отмечено, что серьезные улики указывают на ее мужа, Томаса Мак-Грегора, как на виновника этого злодеяния. Но Томас Мак-Грегор исчез бесследно, и никто о нем больше никогда не слышал. Выяснилось, что супруги прибыли из Эдинбурга, И – дорогая, разве ты не видишь, что у мистера Элдерсона в тарелке для костей оказалась вода?

Я уронил цыплячью ножку в полоскательницу.

– В комод я нашел фотографию Мак-Грегора, но и она не помогла отыскать преступника.

– Можно мне взглянуть? – спросил я.

С фотографии смотрело свирепое смуглое лицо, которое казалось еще более отталкивающим из-за длинного шрама, тянувшегося наискось от виска до длинных усов.

– Кстати, мистер Элдерсон, – заметил мой любезный хозяин, – позвольте узнать, почему вы спросили меня о долине Макарджера?

– У меня там когда-то потерялся мул. И эта потеря... очень расстроила меня.

– Дорогая, – сказал мистер Морган с бесстрастностью добросовестного переводчика, – потеря мула заставила мистера Элдерсона наперчить свой кофе.

Перевод Ф. Золотаревской

Диагноз смерти

– Я не так суеверен, как вы, врачи, – люди науки, как вы любите себя называть, – сказал Хоувер, отвечая на невысказанное обвинение. – Кое-кто из вас – правда, немногие – верит в бессмертие души и в то, что нам могут являться видения, которые у вас не хватает честности назвать просто привидениями. Я же только утверждаю, что живых иногда можно видеть там, где их сейчас нет, но где они раньше были, – где они жили так долго и так, я бы сказал, интенсивно, что оставили отпечаток на всем, что их окружало. Я достоверно знаю – личность человека может настолько запечатлеться в окружающем, что даже долго спустя его образ может предстать глазам другого человека. Но, конечно, это должна быть личность, способная оставить отпечаток, и глаза, способные его воспринять, – например мои.

– Да, глаза, способные воспринять, и мозг, способный превратно истолковать воспринятое, – с улыбкой сказал доктор Фрейли.

– Благодарю вас. Всегда приятно, когда твои ожидания сбываются, – а это как раз та степень любезности, которой я мог ожидать от вас.

– Прошу прощения. Но вы сказывали, что знаете достоверно. Таких слов не бросают на ветер. Может быть, вы расскажете, откуда у вас эта уверенность?

– Вы это назовете галлюцинацией, – сказал Хоувер, – но все равно.

И он начал свой рассказ:

– Прошлым летом я, как вы знаете, поехал в городок Меридиан, намереваясь провести там самую жаркую пору. Мой родственник, у которого я думал остановиться, захворал, и мне пришлось искать себе другое пристанище. После долгих поисков я наконец нашел свободное помещение – дом, в котором некогда жил чудаковатый доктор по фамилии Маннеринг; потом он Уехал, куда – никто не знал, даже тот, кто по его поручению присматривал за домом.

Маннеринг сам построил этот дом и прожил в нем почти десять лет вдвоем со старой служанкой. Практика у него всегда была небольшая, а вскоре он ее совсем бросил. Мало того, он совершенно удалился от общества и жил настоящим анахоретом. Деревенский врач, единственный, с кем он поддерживал общение, рассказывал мне, что эти годы отшельничества он посвятил научному исследованию и даже написал целую книгу, но труд этот не заслужил одобрения со стороны его собратьев по профессии. Они считали, что Маннеринг немного помешан. Сам я не видел этой книги и сейчас не помню ее заглавия, но мне говорили, что в ней он излагал довольно оригинальную теорию. Он утверждал, что в некоторых случаях бывает возможно предсказать заранее смерть человека, хотя бы тот сейчас пользовался цветущим здоровьем, и срок этот можно исчислить с большой точностью. Самый длительный срок для такого предсказания он, кажется, определял в восемнадцать месяцев. Хранители местных преданий

рассказывали, что он не раз ставил такие прогнозы, или, может быть, правильное сказать, диагнозы, и утверждали, что в каждом случае то лицо, чьих близких он предупредил, умирало в указанный день, и притом без всякой видимой причины. Все это, впрочем, не имеет отношения к тому, о чем я хочу рассказать; я просто подумал, что вас как врача это может позабавить.

Дом сдавался с обстановкой, которая сохранилась в полной неприкосновенности еще с тех дней, когда там жил доктор. Это было, пожалуй, слишком мрачное жилище для человека, не склонного ни к отшельничеству, ни к научным трудам, и мне кажется, что дух этого дома, или, верней, дух его прежнего обитателя, оказал влияние и на меня, ибо, когда я там находился, мною неизменно овладевала меланхолия, вовсе мне не свойственная. Не думаю, чтобы ее можно было объяснить просто одиночеством: правда, ночью я оставался совсем один – прислуга спала не в доме, – но я никогда не скучаю наедине с самим собой, так как чтение составляет мое любимое занятие. Одним словом, каковы бы ни были причины, а результатом была подавленность и какое-то чувство неотвратимой беды; особенно тяжким оно становилось в кабинете доктора Маннеринга, хотя это была самая светлая и веселая комната в доме. Здесь висел портрет доктора Маннеринга масляными красками, в натуральную величину, и все в комнате, казалось, сосредоточивалось вокруг него. В портрете не было ничего необычайного; на нем был изображен человек лет пятидесяти, довольно приятной внешности, с бритым лицом и темными глазами, с проседью в черных волосах. Но почему-то портрет притягивал к себе, от него трудно было оторваться. Лицо человека на портрете не покидало меня, – можно сказать, что оно меня преследовало.

Однажды вечером я проходил через эту комнату, направляясь в спальню с лампой в руках, – в Меридиане не было газового освещения. Как всегда, я остановился перед портретом: при свете лампы он, казалось, приобрел какое-то новое выражение – трудно сказать, какое именно, но, во всяком случае, таинственное. Это возбудило мое любопытство, не внушив, однако, тревоги. Я стал двигать лампой из стороны в сторону, наблюдая различные эффекты от перемены освещения. Поглощенный этим занятием, я вдруг почувствовал желание оглянуться.

Я это сделал и увидел, что по комнате прямо ко мне идет человек. Когда он приблизился настолько, что свет от лампы озарил его лицо, я увидел, что это сам доктор Маннеринг. Как будто портрет сошел со стены!

– Простите, – сказал я с некоторой холодностью. – Очевидно, я не слышал, как вы постучали.

Он прошел мимо на расстоянии двух шагов, поднял палец, как будто предостерегая меня, и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты – куда и как, мне не удалось заметить, так же как я не заметил его прихода.

Мне, конечно, незачем объяснять вам, что происшедшее было то, что вы называете галлюцинацией, а я – видением. Дверей в комнате было только две: одна была заперта на ключ, а вторая вела в спальню, которая не имела другого выхода. Что я почувствовал, когда это сообразил, не относится к делу.

Вы, надо полагать, сочтете это банальной историей с привидениями, построенной по правилам, установленным классиками этого жанра. Будь это так, я не стал бы рассказывать, даже если бы она случилась со мной на самом

деле. Но человек этот не был призраком; он – жив. Я встретил его сегодня на Юнион-стрит. Он прошел мимо меня в толпе.

Хоувер кончил свой рассказ. Несколько минут оба собеседника молчали. Доктор Фрейли рассеянно барабанил пальцами по столу.

– Он сегодня что-нибудь сказал? – спросил он. – Что-нибудь такое, из чего можно было заключить, что он не мертв?

Хоувер уставился на доктора и ничего не ответил.

– Может быть, он сделал какой-нибудь знак? – продолжал Фрейли. – Какой-нибудь жест? Может быть, поднял палец? У него была такая привычка, когда он собирался сказать что-нибудь важное, – например когда он ставил диагноз.

– Да, он поднял палец, – совершенно так, как тогда мое видение. Но – боже мой! – вы, стало быть, его знали?

Хоувер, видимо, начал волноваться.

– Я знал его. И я прочитал его книгу – когда-нибудь каждый врач ее прочитает. Его поразительное открытие – это первостепенной важности вклад в медицинскую науку. Да, я его знал. Я лечил его во время его последней болезни три года назад. Он умер.

Хоувер вскочил со стула; видно было, что он с трудом сдерживает волнение. Он прошелся взад и вперед по комнате, потом остановился перед своим другом и нетвердым голосом спросил:

– Фрейли, вы ничего не имеете сказать мне как врач?

– Что вы, Хоувер! Вы самый здоровый человек из всех, кого я знаю. Но я дам вам совет как друг. Пойдите к себе в комнату; вы играете на скрипке как ангел – сыграйте что-нибудь. Что-нибудь веселое и бодрое. Выбросьте из головы мрачные мысли.

На другой день Хоувера нашли у него в комнате мертвым. Он прижимал скрипку к подбородку, смычок покоился на струнах, перед ним был раскрыт «Траурный марш» Шопена.

Перевод О. Холмской

Хозяин Моксона

– Неужели вы это серьезно? Вы в самом деле верите, что машина думает?

Я не сразу получил ответ: Моксон, казалось, был всецело поглощен углями в камине, он ловко орудовал кочергой, пока угли, польщенные его вниманием, не запылали ярче. Вот уже несколько недель я наблюдал, как развивается в нем привычка тянуть с ответом на самые несложные, пустячные вопросы. Однако вид у него был рассеянный, словно он не обдумывает ответ, а погружен в свои собственные мысли, словно что-то гвоздем засело у него в голове.

Наконец он проговорил:

– Что такое «машина»? Понятие это определяют по-разному. Вот послушайте, что сказано в одном популярном словаре: «Орудие, или устройство для приложения и увеличения силы или для достижения желаемого результата». Но в таком случае, разве человек не машина? А согласитесь, что человек думает или же думает, что думает.

– Ну, если вы не желаете ответить на мой вопрос, – возразил я довольно раздраженно, – так прямо и скажите. Ваши слова попросту увертка. Вы прекрасно понимаете, что под «машиной» я подразумеваю не человека, а нечто созданное и управляемое человеком.

– Если только это «нечто» не управляет человеком, – сказал он, внезапно вставая и подходя к окну, за которым все тонуло в предгрозовой черноте ненастного вечера. Минуту спустя он повернулся ко мне и, улыбаясь, сказал:

– Прошу извинения, я и не думал увертываться. Я просто счел уместным привести это определение и сделать создателя словаря невольным участником нашего спора. Мне легко ответить на ваш вопрос прямо: да, я верю, что машина думает о той работе, которую она делает.

– Ну что ж, это был достаточно прямой ответ. Однако нельзя сказать, что слова Моксона меня порадовали, они скорее укрепили печальное подозрение, что увлечение, с каким он предавался занятиям в своей механической мастерской, не принесло ему пользы. Я знал, например, что он страдает бессонницей, а это недуг не из легких. Неужели Моксон повредился в рассудке? Его ответ убеждал тогда, что так оно и есть. Быть может, теперь я отнесся бы к этому иначе. Но тогда я был молод, а к числу благ, в которых не отказано юности, принадлежит невежество. Подстрекаемый этим могучим стимулом к противоречию, я сказал:

– А чем она, позвольте, думает? Мозга-то у нее нет. Ответ, последовавший с меньшим, чем обычно, запозданием, принял излюбленную им форму контрвопроса.

– А чем думает растение? У него ведь тоже нет мозга.

– Ах так, растения, значит, тоже принадлежат к разряду мыслителей! Я был бы счастлив узнать некоторые из их философских выводов – посылки можете опустить.

– Вероятно, об этих выводах можно судить по их поведению, – ответил он, ничуть не задетый моей глупой иронией. – Не стану приводить в пример чувствительную мимозу, некоторые насекомоядные растения и те цветы, чьи тычинки склоняются и стряхивают пыльцу на забравшуюся в чашечку пчелу, для того чтобы та могла оплодотворить их далеких супруг, – все это достаточно известно. Но поразмыслите вот над чем. Я посадил у себя в саду на открытом месте виноградную лозу. Едва только она проросла, я воткнул в двух шагах от нее колышек. Лоза тотчас устремила к нему, но когда через несколько дней она уже почти дотянулась до колышка, я перенес его немного в сторону. Лоза немедленно сделала резкий поворот и опять потянулась к колышку. Я многократно повторял этот маневр, и наконец лоза, словно потеряв терпение, бросила погоню и, презрев дальнейшие попытки сбить ее с толку, направилась к невысокому дереву, росшему немного поодаль, и обвилась вокруг него. А корни эвкалипта? Вы не поверите, до какой степени они могут вытягиваться в поисках влаги. Известный садовод рассказывает, что однажды корень проник в заброшенную дренажную трубу и путешествовал по ней, пока не наткнулся на каменную стену, которая преграждала трубе путь. Корень покинул трубу и пополз вверх по стене; в одном месте выпал камень и образовалась дыра, корень пролез в дыру и, спустившись по другой стороне стены, отыскал продолжение трубы и последовал по ней дальше.

– Так к чему вы клоните?

– Разве вы не понимаете значения этого случая? Он говорит о том, что растения наделены сознанием. Доказывает, что они думают.

– Даже если и так, то что из этого следует? Мы говорили не о растениях, а о машинах. Они, правда, либо частью изготовлены из металла, а частью из дерева, но дерева, уже переставшего быть живым, либо целиком из металла. Или же, по-вашему, неорганическая природа тоже способна мыслить?

– А как же иначе вы объясняете, к примеру, явление кристаллизации?

– Никак не объясняю.

– Да и не сможете объяснить, не признав того, что вам так хочется отрицать, а именно – разумного сотрудничества между составными элементами кристаллов. Когда солдаты выстраиваются в шеренгу или каре, вы говорите о разумном действии. Когда дикие гуси летят треугольником, вы рассуждаете об инстинкте. А когда однородные атомы минерала, свободно передвигающиеся в растворе, организуются в математически совершенные фигуры или когда частицы замерзшей влаги образуют симметричные и прекрасные снежинки, вам нечего сказать. Вы даже не сумели придумать никакого ученого слова, чтобы прикрыть ваше воинствующее невежество.

Моксон говорил с необычным для него воодушевлением и горячностью. В тот момент, когда он замолчал, из соседней комнаты, именуемой «механической мастерской», доступ в которую был закрыт для всех, кроме него самого, донеслись какие-то звуки, словно кто-то колотил ладонью по столу. Моксон услышал стук одновременно со мной и, явно встревожившись, встал и быстро прошел в ту комнату, откуда он слышался. Мне показалось невероятным, чтобы там находился кто-то посторонний; интерес к другу,

несомненно с примесью непозволительного любопытства, заставил меня напряженно прислушиваться, но все-таки с гордостью заявляю — я не прикладывал уха к замочной скважине. Раздался какой-то беспорядочный шум не то борьбы, не то драки, пол задрожал. Я совершенно явственно различил затрудненное дыхание и хриплый шепот: «Проклятый!» Затем все стихло, и сразу появился Моксон с виноватой улыбкой на лице.

— Простите, что я вас бросил. У меня там машина вышла из себя и взбунтовалась.

Глядя в упор на его левую щеку, которую пересекли четыре кровавые ссадины, я сказал:

— А не надо ли подрезать ей ногти?

Моя насмешка пропала даром: он не обратил на нее никакого внимания, уселся на стул, на котором сидел раньше, и продолжал прерванный монолог, как будто ничего ровным счетом не произошло:

— Вы, разумеется, не согласны с теми (мне незачем называть их имена человеку с вашей эрудицией), кто учит, что материя наделена разумом, что каждый атом есть живое, чувствующее, мыслящее существо. Но я-то на их стороне. Не существует материи мертвой, инертной: она вся живая, она исполнена силы, активной и потенциальной, чувствительна к тем же силам в окружающей среде и подвержена воздействию сил еще более сложных и тонких, заключенных в организмах высшего порядка, с которыми материя может прийти в соприкосновение, например, в человеке, когда он подчиняет материю себе. Она вбирает в себя что-то от его интеллекта и воли — и вбирает тем больше, чем совершеннее машина и чем сложнее выполняемая ею работа. Помните, как Герберт Спенсер определяет понятие «жизнь»? Я читал его тридцать лет назад. Возможно, впоследствии он сам что-нибудь переиначил, уж не знаю, но мне в то время казалось, что в его формулировке нельзя ни переставить, ни прибавить, ни убавить ни одного слова. Определение Спенсера представляется мне не только лучшим, но единственно возможным. «Жизнь, — говорит он, — есть определенное сочетание разнородных изменений, совершающихся как одновременно, так и последовательно в соответствии с внешними условиями».

— Это определяет явление, — заметил я, — но не указывает на его причину.

— Но такова суть любого определения, — возразил он. — Как утверждает Милль, мы ничего не знаем о причине, кроме того что она чему-то предшествует; ничего не знаем о следствии, кроме того что оно за чем-то следует. Есть явления, которые не существуют одно без другого, хотя между собой не имеют ничего общего: первые во времени мы именуем причиной, вторые — следствием. Тот, кто видел много раз кролика, преследуемого собакой, и никогда не видел кроликов и собак порознь, будет считать, что кролик — причина собаки. Боюсь, однако, — добавил он, рассмеявшись самым естественным образом, — что, погнавшись за этим кроликом, я потерял след зверя, которого преследовал, — я увлекся охотой ради нее самой. Между тем я хочу обратить ваше внимание на то, что определение Гербертом Спенсером жизни касается и деятельности машины: там, собственно, нет ничего, что было бы неприменимо к машине. Продолжая мысль этого тончайшего наблюдателя и глубочайшего мыслителя — человек живет, пока действует, — я скажу, что и

машина может считаться живой, пока она находится в действии. Утверждаю это как изобретатель и конструктор машин.

Моксон длительное время молчал, рассеянно уставившись в камин. Становилось поздно, и я уже подумывал о том, что пора идти домой, но никак не мог решиться оставить Моксона в этом уединенном доме совершенно одного, если не считать какого-то существа, относительно природы которого я мог только догадываться и которое, насколько я понимал, настроено недружелюбно или даже враждебно. Наклонившись вперед и пристально глядя приятно в глаза, я сказал, показав рукой на дверь мастерской:

– Моксон, кто у вас там?

К моему удивлению, он непринужденно засмеялся и ответил без тени замешательства:

– Никого нет. Происшествие, которое вы имеете в виду, вызвано моей неосторожностью; я оставил машину в действии, когда делать ей было нечего, а сам в это время взялся за нескончаемую просветительскую работу. Знаете ли вы, кстати, что Разум есть детище Ритма?

– Ах, да провались они оба! – ответил я, подымаясь и берясь за пальто. – Желаю вам доброй ночи. Надеюсь, что, когда в другой раз понадобится укрощать машину, которую вы по безопасности оставите включенной, она будет в перчатках.

И, даже не проверив, попала ли моя стрела в цель, я повернулся и вышел.

Шел дождь, вокруг была непроницаемая тьма. Вдали, над холмом, к которому я осторожно пробирался по шатким дощатым тротуарам и грязным немощеным улицам, стояло слабое зарево от городских огней, но позади меня ничего не было видно, кроме одинокого окна в доме Моксона. В том, как оно светилось, мне чудилось что-то таинственное и зловещее. Я знал, что это незавешенное окно в мастерской моего друга, и нимало не сомневался, что он вернулся к своим занятиям, которые прервал, желая просветить меня по части разумности машин и отцовских прав ритма... Хотя его убеждения казались мне в то время странными и даже смехотворными, все же я не мог полностью отделаться от ощущения, что они каким-то образом трагически связаны с его собственной жизнью и характером, а быть может, и с его участью, и, уж во всяком случае, я больше не принимал их за причуды больного рассудка. Как бы ни относиться к его идеям, логичность, с какой он их развивал, не оставляла сомнений в здравости его ума. Снова и снова мне вспоминались его последние слова: «Разум есть детище Ритма». Пусть утверждение это было чересчур прямолинейным и обнаженным, мне оно теперь представлялось бесконечно заманчивым. С каждой минутой оно приобретало в моих глазах все больше смысла и глубины. Что ж, думал я, на этом, пожалуй, можно построить целую философскую систему. Если разум – детище ритма, в таком случае все сущее разумно, ибо все находится в движении, а всякое движение ритмично. Меня занимало, сознает ли Моксон значение и размах своей идеи, весь масштаб этого важнейшего обобщения. Или же он пришел к своему философскому выводу извилистым и ненадежным путем опыта?

Философия эта была настолько неожиданной, что разъяснения Моксона не обратили меня сразу в его веру. Но сейчас словно яркий свет разлился вокруг

меня, подобно тому свету, который озарил Савла из Тарса¹, и, шагая во мраке и безлюдии этой непогожей ночи, я испытал то, что Льюис назвал «беспредельной многогранностью и волнением философской мысли». Я упивался неизведанным сознанием мудрости, неизведанным торжеством разума. Ноги мои едва касались земли, меня словно подняли и несли по воздуху невидимые крылья.

Повинуясь побуждению вновь обратиться за разъяснениями к тому, кого отныне я считал своим наставником и поводырем, я бессознательно повернул назад и, прежде чем успел опомниться, уже стоял перед дверью моксоновского дома. Я промок под дождем насквозь, но даже не замечал этого. От волнения я никак не мог нащупать звонок и машинально нажал на ручку. Она повернулась, я вошел и поднялся наверх, в комнату, которую так недавно покинул. Там было темно и тихо; Моксон, очевидно, находился в соседней комнате – в «мастерской». Ощупью, держась за стену, я добрался до двери в мастерскую и несколько раз громко постучал, но ответа не услышал, что приписал шуму снаружи, – на улице бесновался ветер и швырял струями дождя в тонкие стены дома. В этой комнате, где не было потолочных перекрытий, дробный стук по кровле звучал громко и непрерывно.

Я ни разу не бывал в мастерской, более того – доступ туда был мне запрещен, как и всем прочим, за исключением одного человека – искусного слесаря, о котором было известно только то, что зовут его Хейли и что он крайне неразговорчив. Но я находился в таком состоянии духовной экзальтации, что позабыл про благовоспитанность и деликатность и отворил дверь. То, что я увидел, разом вышибло из меня все мои глубокомысленные соображения.

Моксон сидел лицом ко мне за небольшим столиком, на котором горела одна-единственная свеча, тускло освещавшая комнату. Напротив него, спиной ко мне, сидел некий субъект. Между ними на столе лежала шахматная доска. На ней было мало фигур, и даже мне, совсем не шахматисту, сразу стало ясно, что игра подходит к концу. Моксон был совершенно поглощен, но не столько, как мне показалось, игрой, сколько своим партнером, на которого он глядел с такой сосредоточенностью, что не заметил меня, хотя я стоял как раз против него. Лицо его было мертвенно-бледно, глаза сверкали как алмазы. Второй игрок был мне виден только со спины, но и этого с меня было достаточно: у меня пропала всякая охота видеть его лицо.

В нем было, вероятно, не больше пяти футов росту, и сложением он напоминал гориллу: широченные плечи, короткая толстая шея, огромная квадратная голова с нахлобученной малиновой феской, из-под которой торчали густые черные космы. Малинового же цвета куртку туго стягивал пояс, ног не было видно – шахматист сидел на ящике. Левая рука, видимо, лежала на коленях, он передвигал фигуры правой рукой, которая казалась несоразмерно длинной.

Я отступил назад и стал сбоку от двери, в тени. Если бы Моксон оторвал взгляд от лица своего противника, он заметил бы только, что дверь приотворена, – и больше ничего. Я почему-то не решался ни переступить порог комнаты, ни уйти совсем. У меня было ощущение (не знаю даже, откуда

¹ Савл – имя апостола Павла до обращения его в христианство. (Прим. перев.)

оно взялось), что вот-вот на моих глазах разыграется трагедия и я спасу моего друга, если останусь. Испытывая весьма слабый протест против собственной нескромности, я остался.

Игра шла быстро. Моксон почти не смотрел на доску, перед тем как сделать ход, и мне, не искушенному в игре, казалось, что он передвигает первые попавшиеся фигуры, — настолько жесты его были резки, нервны, малоосмысленны. Противник тоже, не задерживаясь, делал ответные ходы, но движения его руки были до того плавными, однообразными, автоматическими и, я бы даже сказал, театральными, что терпение мое подверглось довольно тяжкому испытанию. Во всей обстановке было что-то нереальное, меня даже пробрала дрожь. Правда и то, что я промок до нитки и ооченел.

Раза два-три, передвинув фигуру, незнакомец слегка наклонял голову, и каждый раз Моксон переставлял своего короля. Мне вдруг подумалось, что незнакомец нем. А вслед за этим, что это просто машина — автоматический шахматный игрок! Я припомнил, как Моксон однажды говорил мне о возможности создания такого механизма, но я решил, что он только придумал его, но еще не сконструировал. Не был ли тогда весь разговор о сознании и интеллекте машин всего-навсего прелюдией к заключительной демонстрации изобретения, простой уловкой для того, чтобы ошеломить меня, невежду в этих делах, подобным чудом механики?

Хорошее же завершение всех умозрительных восторгов, моего любования «беспределной многогранностью и волнением философской мысли»! Разозлившись, я уже хотел уйти, но тут мое любопытство вновь было подстегнуто: я заметил, что автомат досадливо передернул широкими плечами, и движение это было таким естественным, до такой степени человеческим, что в том новом свете, в каком я теперь все видел, оно меня испугало. Но этим дело не ограничилось: минуту спустя он резко ударил по столу кулаком. Моксон был поражен, по-моему, еще больше, чем я, и словно в тревоге отодвинулся вместе со стулом назад.

Немного погодя Моксон, который должен был сделать очередной ход, вдруг поднял высоко над доской руку, схватил одну из фигур со стремительностью упавшего на добычу ястреба, воскликнул: «Шах и мат!» — и, вскочив со стула, быстро отступил за спинку. Автомат сидел неподвижно.

Ветер затих, но теперь все чаще и громче раздавались грохочущие раскаты грома. В промежутках между ними слышалось какое-то гудение или жужжание, которое, как и гром, с каждой минутой становилось громче и явственнее. И я понял, что это с гулом вращаются шестерни в теле автомата. Гул этот наводил на мысль о вышедшем из строя механизме, который ускользнул из-под умиротворяющего и упорядочивающего начала какого-нибудь контрольного приспособления, — так бывает, если выдернуть собачку из зубьев храповика. Я, однако, недолго предавался догадкам относительно природы этого шума, ибо внимание мое привлекло непонятное поведение автомата. Его била мелкая, непрерывная дрожь. Тело и голова тряслись, точно у паралитика или больного лихорадкой, конвульсии все учащались, пока наконец весь он не заходил ходуном. Внезапно он вскочил, всем телом перегнулся через стол и молниеносным движением, словно ныряльщик, выбросил вперед руки. Моксон откинулся назад, попытался увернуться, но было уже поздно: руки чудовища сомкнулись на его горле. Моксон вцепился в них, пытаясь оторвать

от себя. В следующий миг стол перевернулся, свеча упала на пол и потухла, комната погрузилась во мрак. Но шум борьбы доносился до меня с ужасающей отчетливостью, и всего страшнее были хриплые, захлебывающиеся звуки, которые издавал бедняга, пытаясь глотнуть воздух. Я бросился на помощь своему другу, туда, где раздавался адский грохот, но не успел сделать в темноте и нескольких шагов, как в комнате сверкнул слепяще-белый свет, он навсегда выжиг в моем мозгу, в сердце, в памяти картину схватки: на полу борющиеся, Моксон внизу, горло его по-прежнему в железных тисках, голова запрокинута, глаза вылезают из орбит, рот широко раскрыт, язык вывалился наружу и – жуткий контраст! – выражение спокойствия и глубокого раздумья на раскрашенном лице его противника, словно погруженного в решение шахматной задачи! Я увидел все это, а потом надвинулись мрак и тишина.

Три дня спустя я очнулся в больнице. Воспоминания о той трагической ночи медленно всплыли в моем затуманенном мозгу, и тут я узнал в моем посетителе Доверенного помощника Моксона Хейли. В ответ на мой взгляд он, улыбаясь, подошел ко мне.

– Расскажите, – с трудом выговорил я слабым голосом, – расскажите все.

– Охотно, – ответил он. – Вас в бессознательном состоянии вынесли из горящего дома Моксона. Никто не знает, как вы туда попали. Вам уж самому придется это объяснить. Причина пожара тоже не совсем ясна. Мое мнение таково, что в дом ударила молния.

– А Моксон?

– Вчера похоронили то, что от него осталось. Как видно, этот молчаливый человек при случае был способен разговаривать. Сообщая больному эту страшную новость, он даже проявил какую-то мягкость. После долгих и мучительных колебаний я отважился наконец задать еще один вопрос:

– А кто меня спас?

– Ну, если вам так интересно, я.

– Благодарю вас, мистер Хейли, благослови вас бог за это. А спасли ли вы также несравненное произведение вашего искусства, автоматического шахматиста, убившего своего изобретателя?

Собеседник мой долго молчал, глядя в сторону. Наконец он посмотрел мне в лицо и печально спросил:

– Так вы знаете?

– Да, – сказал я, – я *видел*, как он убивал.

Все это было давным-давно. Если бы меня спросили сегодня, я бы не смог ответить с такой уверенностью.

Перевод Н. Рахмановой

Жестокая схватка

В ночную пору осенью 1861 года в самой гуще леса Западной Виргинии одиноко сидел человек. Этот край – горная область Чит – был одним из самых безлюдных на континенте. Однако в ту ночь людей поблизости было более чем достаточно. Всего в двух милях от того места, где сидел человек, находился затихший теперь лагерь целой бригады федеральной армии. А где-то совсем рядом, быть может еще ближе, чем лагерь северян, притаились вражеские войска, численность которых была неизвестна. Именно неизвестность расположения и численности противника и объясняла присутствие человека в столь глухом уголке леса. Это был молодой офицер пехотного полка северян, и на него была возложена обязанность охранять спящих в лагере товарищей от всяких неожиданностей. Он командовал назначенным в дозор подразделением. С наступлением ночи лейтенант расставил людей неровной цепью, сообразно особенностям рельефа, на несколько сот ярдов впереди того места, где он сам сейчас находился. Линия дозора проходила в лесу, между скал и зарослей лавра. Люди стояли в пятнадцати – двадцати шагах друг от друга, тщательно замаскированные, соблюдая наказ о строжайшей тишине и неусыпной бдительности. Через четыре часа, если ничего не случится, их сменит свежее подразделение резерва, отдыхающее теперь под надзором своего капитана чуть позади, на левом фланге. Перед тем как расставить людей, молодой офицер, о котором идет речь, указал двум своим сержантам место, где они смогут отыскать своего командира, в случае если им понадобится его совет или необходимо будет его присутствие на передовой линии.

Место было довольно тихое – на развилке заброшенной лесной дороги, два извилистых ответвления которой уходили далеко вперед, теряясь в лунном сумраке. На каждом из них, в нескольких шагах от передовой линии, молодой командир поставил своих сержантов. Если при внезапной атаке солдатам придется поспешно отступить – а сторожевые посты в таких случаях обычно не задерживаются на месте, – они станут отходить по этим двум сближающимся дорогам и неизбежно встретятся в пункте их пересечения, где людей можно будет вновь собрать и построить. В своих скромных масштабах молодой лейтенант был до некоторой степени стратегом. Если бы Наполеон столь же разумно расставил свои войска под Ватерлоо, он выиграл бы сражение и был бы свергнут несколько позже.

Младший лейтенант Брейнерд Байринг был храбрый и знающий офицер, несмотря на свою молодость и сравнительно небольшой опыт в искусстве уничтожения ближних. Он был завербован в армию рядовым в первые же дни войны и, не имея ровно никаких военных познаний, а лишь благодаря образованности и хорошим манерам, назначен старшиной роты. С помощью снаряда конфедератов ему посчастливилось лишиться своего капитана, и при

последовавшем повышении он получил офицерское звание. Он участвовал в нескольких сражениях – при Филиппи, у горы Рич, у форта Каррика, при Гринбрайере – и вел себя достаточно храбро, чтобы не привлекать внимания старших офицеров. Ему по душе был азарт сражения, но он совершенно не выносил вида мертвых – их желтых, как глина, лиц, их; потухших глаз, их окоченевших тел, то неестественно сморщенных, то неестественно распухших. Он чувствовал к ним какую-то необъяснимую антипатию – нечто большее, чем обычное физическое и духовное отвращение, свойственное нам всем. Без сомнения, эта неприязнь была вызвана его обостренной чувствительностью – его сильно развитое чувство красоты оскорбляло все отвратительное. Но каковы бы ни были причины, он не в состоянии был смотреть на мертвое тела без омерзения, к которому примешивался оттенок злости. Для Байринга не существовало того, что другие благоговейно называют «величием смерти». Это понятие было для него невыносимо. Смерть можно только ненавидеть. В ней нет ни живописности, ни мягкости, ни торжественности – мрачная штука, отвратительная, с какой стороны ни посмотри. Лейтенант Байринг был гораздо храбрее, чем думали многие, ибо никто не подозревал о его ужасе перед той, с кем он всегда был готов встретиться лицом к лицу.

Расставив людей, отдав распоряжения сержантам, он вернулся на свой пост, сел на ствол поваленного дерева и, напрягши все чувства, приступил к ночному бдению. Для большего удобства он слегка распустил португую, вынул из кобуры тяжелый пистолет и положил его на ствол рядом с собой. Он устроился очень удобно, хотя едва ли осознал это, – до того напряженно он вслушивался, не доносится ли с передовой линии какой-либо звук, предупреждающий об опасности, – крик, выстрел или шаги сержанта, спешащего к нему с важной вестью. Из безбрежного невидимого лунного океана высоко над головой струились вниз призрачные потоки и, расплескавшись о переплетение ветвей, просачивались на землю, образуя между кустарниками небольшие лужицы света. Но таких световых пятен было немного, и они лишь подчеркивали окружающий мрак, который воображение Байринга населяло всевозможными существами невиданных форм, грозными, таинственными или просто уродливыми.

Тому, для кого пребывание ночью в глухом лесу – дело привычное, нет нужды рассказывать, что зловещий союз мрака, безмолвия и одиночества рождает дикий мир, в котором самые обычные и знакомые предметы обретают совершенно иной облик. Деревья смыкаются теснее, точно прижимаясь друг к другу в страхе. Даже тишина и та непохожа на дневную тишину. Она полна каких-то едва слышных леденящих кровь шепотов – призраков давно умерших звуков. Раздаются здесь и живые, внятные звуки, каких больше нигде не услышишь: пение незнакомых лесных птиц, жалобный писк зверьков во сне или в стычке с внезапно подкравшимся врагом, шуршание опавшей листвы – то ли пробежала крыса, то ли прокралась пантера. Отчего хрустнула ветка? Отчего встревоженно защебетала в кустах стайка птиц? Здесь – звуки без названия, формы без содержания. Здесь – перемещения в пространстве, хотя ничто не движется, движения – хотя ничто не меняет места. О дети солнечного света и газовых горелок, как мало знаете вы о мире, в котором живете!

Несмотря на то что совсем близко от Байринга находились бдительные и вооруженные друзья, он чувствовал себя необычайно одиноким. Проникшись настроением торжественности и таинственности ночного леса, он утратил ощущение связи с видимым и слышимым миром. Лес был бесконечен, здесь не было ни людей, ни их жилищ. Вселенная казалась сплошной первозданной загадкой мрака, а сам он – единственным безмолвным вопрошателем ее извечных тайн. Поглощенный этими мыслями, вызванными его необычным настроением, он не замечал, как шло время. Между тем редкие лужицы света на траве и кустах стали перемещаться, меняя очертания и размеры. В одной из них, у самой дороги, Байринг вдруг заметил какой-то предмет, которого он прежде не видел. Предмет находился прямо перед ним. Байринг мог поклясться, что раньше его там не было. Мрак наполовину скрывал его, но тем не менее можно было ясно различить формы человеческого тела. Байринг инстинктивно подтянул португезу и положил руку на пистолет – он снова был в мире войны, снова стал убийцей по профессии.

Фигура не двигалась. Лейтенант поднялся и, сжимая в руке пистолет, подошел поближе. Тело лежало на спине, верхнюю часть его скрывала тьма, однако, взглядевшись в лицо, Байринг увидел, что человек мертв. Он вздрогнул и отшатнулся с чувством брезгливости и тошноты, затем возвратился на место и, позабыв о предосторожности, зажег сигару. Когда вслед за вспышкой пламени вновь наступила непроглядная чернота, Байринг ощутил даже некоторое облегчение оттого, что не видит больше ненавистного ему предмета. И все же он не переставал пристально вглядываться в том направлении, пока труп не возник перед ним с еще большей отчетливостью. Мертвец даже как будто придвинулся к нему чуть поближе.

– Вот проклятый! – пробормотал Байринг. – Что ему надо? – Мертвец, очевидно, не нуждался ни в чем, кроме живой души.

Байринг отвел взгляд и принялся мурлыкать какую-то песенку, но вдруг резко оборвал мелодию и уставился на мертвеца. Его присутствие раздражало лейтенанта, хотя более спокойного соседа, чем этот, трудно было придумать. Байринг был охвачен каким-то безотчетным, доселе незнакомым ему чувством. Это был не страх, а скорее ощущение присутствия чего-то сверхъестественного, во что он никогда не верил.

«Это у меня в крови, – сказал он себе. – Пройдут наверное, тысячи лет, а может быть, и десятки тысяч, пока человечество изживет в себе это чувство. Где и когда оно возникло? Должно быть, в глубине веков, в тех краях, которые обычно называют колыбелью человеческой расы, – в степях Центральной Азии. То, что мы теперь считаем врожденным суеверием, было для наших диких предков вполне естественным убеждением. Находя, по-видимому, оправдание в каких-то неведомых нам фактах, они полагали, что мертвое тело наделено некой таинственной силой, способной причинять зло. Быть может, это было одним из догматов какой-то мрачной религии, которую они исповедовали, и священники их настойчиво внушали его пастве, подобно тому как наши святые отцы твердят нам о бессмертии души? Когда же арийцы, двинувшись на запад и перевалив Кавказский хребет, распространились по Европе, новые условия существования, очевидно, вызвали к жизни новые формы религии. Старая вера в пагубную силу мертвеца мало-помалу исчезла и забылась, но в наследство от нее остался страх перед умершими,

передающийся из поколения в поколение и ставший частью нас самих, как наша плоть и кровь».

Погруженный в эти мысли, Байринг постепенно забыл о том, что их вызывало. Но затем взгляд его снова упал на труп. Тень окончательно сошла с него, и теперь лейтенант мог видеть заострившийся профиль, очертания подбородка и все лицо, ужасающе бледное в лунном свете. На трупе была серая солдатская форма армии конфедератов. Под расстегнутым мундиром и жилетом обнажилась белая рубашка. Грудь мертвеца неестественно вздулась, живот запал, и между ними резко обозначилась линия нижних ребер. Руки были раскинуты, согнутая в колене левая нога поднята кверху. Вся поза убитого показалась Байрингу тщательно продуманной, точно мертвец стремился произвести наиболее жуткое впечатление.

– Эге, да он, видимо, был актером, – воскликнул лейтенант, – знал, как умереть поэффектнее!

Он отвел глаза от трупа, решительно устремив их на дорогу, и продолжал прерванные размышления:

«А может быть, у наших предков из Центральной Азии похороны были не в обычае. В таком случае, понятен их страх перед трупами, которые и в самом деле таят в себе угрозу и зло. Они ведь порождают эпидемии. Детям внушали, что они должны обходить стороной те места, где лежат мертвецы, и бежать без оглядки, если случайно наткнутся на труп. Пожалуй, уйду-ка я подальше от этого типа».

Он приподнялся было, но вдруг вспомнил о том, что сказал своим людям в дозоре и офицеру, который должен его сменить. Он предупредил их, что в любое время его можно будет найти на этом месте. Для него это был вопрос самолюбия. Если он покинет свой пост, товарищи еще, чего доброго, подумают, что он испугался мертвеца. Лейтенант Байринг не был трусом и вовсе не намерен был давать пищу насмешкам. Он снова уселся на ствол дерева и с вызовом взглянул на убитого, как бы желая доказать, что он его нисколько не боится. Правая рука трупа, та, что была подальше от Байринга, находилась теперь в тени. Прежде он заметил, что эта рука лежала под лавровым кустом, – теперь он едва различал ее. Однако все оставалось на своих местах, и это обстоятельство как-то успокоило его, хотя он и сам не мог сказать почему. Байринг не в силах был отвести глаз от трупа. То, чего мы не желаем видеть, обладает обычно какой-то странной притягательной силой, подчас непреодолимой. И я должен заметить, что не следует строго судить женщину, когда она, закрыв лицо руками, подглядывает в щелочку между пальцами.

Внезапно Байринг почувствовал боль в правой руке. Он отвел взор от своего врага и взглянул на руку. Оказалось, он так сильно сжимал рукоять шпата, что она больно давила на ладонь, Байринг заметил также, что сидит подавшись вперед, в напряженной, неестественной позе, весь подобравшись, точно гладиатор, готовый прыгнуть и вцепиться в горло противника. Он тяжело дышал, стиснув зубы. Впрочем, Байринг скоро опомнился. Мускулы его ослабли, он тяжело перевел дух, и тут только до него дошла комическая нелепость этой сцены. Лейтенант невольно рассмеялся... Боже! Что за звуки! Какой слабоумный идиот разразился этим жутким

хихиканьем, этой жалкой пародией на проявление человеческого веселья? Байринг вскочил и стал оглядываться вокруг, не узнавая собственного смеха.

Он не мог больше скрывать от себя вопиющего факта своей трусости. Он был вконец напуган. Байринг бежал бы отсюда со всех ног, однако ноги не слушались его; они подкосились, и лейтенант снова сел на ствол дерева, дрожа как в лихорадке. Лицо его взмокло, все тело обдало волной холодного пота. Он не в силах был даже крикнуть. Отчетливо слышал он позади себя чьи то крадущиеся шаги, точно поступь зверя, но не смел оглянуться. Неужто лишенные души живые существа вступили в союз с лишенным души мертвым телом?! Был ли то действительно зверь? Ах, если бы он мог убедиться в этом! Но никаким усилием воли не мог он заставить себя оторвать взгляд от мертвеца.

Повторяю, лейтенант Байринг был храбрым и здравомыслящим человеком. Но что поделаешь! Может ли человек один, без посторонней помощи, устоять против зловещей коалиции ночного мрака, одиночества, безмолвия и смерти, в то время как бесчисленные духи его предков подтачивают его мужество тысячами трусливых предостережений, а их скорбные погребальные песни проникают в сердце и леденят кровь? Силы слишком неравны – храбрость не должна подвергаться столь безжалостным испытаниям.

Одна навязчивая мысль владела теперь Байрингом: ему казалось, что тело шевелится. Теперь оно лежало ближе к краю светового пятна – в этом не могло быть никакого сомнения. Оно двигало руками – вот, смотрите, обе руки уже переместились в тень! Порыв холодного ветра ударил Байрингу в лицо, ветви деревьев у него над головой зашевелились и жалобно заскрипели. Резко очерченная тень сошла с лица трупa, и оно осветилось луной. Затем тень снова надвинулась на лицо, окутав его полумраком. Страшный мертвец явно шевелился! В это мгновение со стороны передовой линии дозора раздался одинокий выстрел. Более сиротливого, более оглушительного и в то же время более далекого выстрела не слышало еще ни одно человеческое ухо! Он разрушил сковывавшие Байринга чары, расколол безмолвие и одиночество, рассеял сонм предостерегающих духов Центральной Азии и вернул Байрингу мужество современного человека. С криком гигантской птицы, бросающейся на свою жертву, он устремился вперед, охваченный жадой битвы.

Выстрел за выстрелом раздавались на передовой линии. Слышались отдельные выкрики, беспорядочный шум, стук копыт, громкие восклицания. С тыла, из спящего лагеря, доносилось пение горнов и грохот барабанов. Продираясь сквозь кустарник, по обоим ответвлениям дороги полным ходом отступали дозорные северян, отстреливаясь наугад. Отставшая группа, отходившая по одной из дорог согласно приказу, внезапно скрылась в зарослях. Полсотни всадников промчались мимо, неистово размахивая саблями. Стреляя на полном скаку, они как одержимые пронесли мимо того места, где находился Байринг, и скрылись за поворотом дороги, продолжая кричать и разряжать во тьму пистолеты. Спустя минуту послышалась ружейная пальба и одинокие пистолетные выстрелы. Нападающие встретились с резервным отрядом северян. И вот они уже в беспорядке устремились обратно. То там, то здесь мелькали опустевшие седла, обезумевшие раненые лошади неслись вперед, храпя от боли. Все было кончено – «бой на аванпостах» утих.

Отряд был пополнен свежими силами, солдаты после переключки вновь построены. На сцене появился полуодетый командир северян со своим штабом. Задав с глубокомысленным видом несколько вопросов, он удалился. Простояв около часу в полной боевой готовности, солдаты бригады «прочли одну-две молитвы» и улеглись на покой.

Ранним утром следующего дня отряд под командованием капитана и в сопровождении хирурга осматривал местность в поисках убитых и раненых. На развилке дороги, чуть в стороне, они нашли два тела, лежавшие вплотную друг к другу. Это были трупы офицера федеральных войск и рядового армии конфедератов. Офицер умер от удара шпаги в сердце, но до этого он, по-видимому, успел нанести своему врагу не менее пяти смертельных ран. Мертвый офицер лежал лицом вниз в луже крови, и шпага все еще торчала у него в груди. Его перевернули на спину, и хирург вытащил оружие из раны.

– Черт возьми, да ведь это Байринг! – воскликнул капитан и тут же добавил, взглянув на другого мертвеца: – У них была жестокая схватка.

Хирург осматривал шпагу. Она могла принадлежать только офицеру федеральной пехоты. Точь-в-точь такая же, как была у капитана. Это, значит, шпага Байринга. Никакого другого оружия они не обнаружили, за исключением неразряженного пистолета в кобуре мертвого Байринга. Хирург отложил шпагу и подошел к другому телу. Оно было страшно исколото и изрезано, но крови нигде не было видно. Хирург взял убитого за левую ступню и попытался выпрямить его ногу. Тело чуть сдвинулось с места. Мертвецы не любят, когда их тревожат. Труп запротестовал, откликнувшись слабым тошнотворным зловонием. Под ним обнаружили черви, с бессмысленной хлопотливостью ползавшие взад и вперед.

Хирург и капитан переглянулись.

Перевод Ф. Золотаревской

Один из близнецов

Письмо, найденное среди бумаг
покойного Мортимера Барра

Вы спрашиваете, приходилось ли мне, одному из близнецов, сталкиваться с чем-либо, что нельзя объяснить известными нам законами природы. Об этом судите сами; возможно, нам известны разные законы природы. Быть может, вы знаете те, что мне незнакомы, и го, что непонятно мне, может быть, совершенно ясно вам.

Вы знали моего брата Джона, то есть вы знали его, когда были уверены, что он – это не я; но мне кажется, ни вы, ни кто другой не смог бы различить нас, если бы мы того не захотели. Наши родители не были исключением; я не знаю примеров большего сходства, чем у нас с братом. Я говорю о своем брате Джоне, но я вовсе не убежден, что его звали не Генри, а меня – не Джон. Нас крестили обычным путем, но потом, привязывая нам на запястья бирочки с буквами, служитель запутался, и, хотя на моей стояла буква Г, а на его – Д, нельзя быть сколь-нибудь уверенным, что нас не перепутали. В детстве родители пробовали различать нас более верным путем – по одежде и другим простым признакам; но мы столь часто менялись костюмами и прибегали к другим уловкам, когда нам надо было ввести противника в заблуждение, что родители отказались от этих тщетных попыток, и все те годы, что мы жили вместе, каждый признавал трудность сложившейся ситуации: выход из положения был, однако, найден: нас обоих стали называть «Дженри». Я часто удивлялся несообразительности моего отца, который не догадался поставить клеймо на наших дурацких лбах; но мы были вполне терпимыми мальчишками и пользовались своей способностью докучать старшим и раздражать их с похвальной умеренностью; благодаря этому мы избежали клейма. Отец был на редкость добродушным человеком и про себя, видимо, от души забавлялся этой игрой природы.

Вскоре после того как мы приехали в Калифорнию и поселились в Сан-Хосе (где единственной ожидавшей нас удачей была встреча с таким добрым другом, каким стали для нас вы), наша семья, как вам известно, распалась из-за кончины – в одну и ту же неделю – обоих моих родителей. Отец мой перед смертью разорился, и дом наш пошел в уплату его долгов. Сестры вернулись к нашим родственникам на Востоке, а Джон и я (нам тогда было по двадцать два года) благодаря вашему участию получили работу в Сан-Франциско, в разных концах города. Обстоятельства не позволили нам поселиться вместе, и мы виделись редко, порой не чаще раза в неделю. Так как у нас было не много общих знакомых, о нашем поразительном сходстве мало кто знал. Теперь я вплотную подхожу к ответу на ваш вопрос.

Как-то вечером, вскоре после того как мы поселились в этом городе, я проходил по Маркет-стрит. Вдруг какой-то хорошо одетый человек средних лет остановил меня и, сердечно поприветствовав, сказал:

– Стивенс, мне, разумеется, известно, что вы редко бываете в обществе, но я рассказал о вас жене, и она была бы рада видеть вас в нашем доме. Кроме того, у меня есть основания полагать, что мои девочки стоят того, чтобы с ними познакомиться. Вы могли бы прийти, скажем, завтра в шесть и пообедать с нами, в семейном кругу; а потом, если мои дамы не смогут вас занять, я с удовольствием сыграл бы с вами партию-другую в бильярд.

Это было сказано с такой добродушной улыбкой и так обаятельно, что у меня не хватило духу отказаться, и, хотя я никогда в жизни не видел этого человека, я тотчас ответил:

– Вы очень любезны, сэр, и я с благодарностью принимаю приглашение. Прошу вас, засвидетельствуйте мое почтение миссис Маргован и передайте, что я обязательно буду.

Пожав мне руку и попрощавшись в приятных выражениях, человек пошел дальше. Было очевидно, что он принял меня за моего брата. К подобным ошибкам я привык и не пытался рассеять заблуждение, если дело не представлялось важным. Но откуда я знал, что фамилия этого человека Маргован? Эта фамилия определенно не из тех, что могут прийти в голову, когда пытаешься угадать имя незнакомого человека. Что же касается меня, то и эта фамилия, и этот человек были мне одинаково незнакомы.

На следующее утро я поспешил к месту работы моего брата и застал его выходящим из конторы со счетами, по которым ему предстояло получить. Я рассказал ему, каким образом я связал его словом, и прибавил, что если приглашение его не интересует, то я с большим удовольствием продолжу эту игру.

– Странно, – задумчиво сказал брат. – Маргован – единственный в конторе человек, которого я хорошо знаю и который мне нравится. Сегодня утром, когда он пришел на работу и мы обменялись обычными приветствиями, какой-то непонятный импульс заставил меня спросить: «Простите, мистер Маргован, но я забыл узнать у вас адрес». Адрес я получил, но до настоящего момента ни за что в жизни не смог бы объяснить, зачем он мне нужен. Очень любезно с вашей стороны, что вы готовы расплачиваться за последствия своей нескромности, но я, с вашего разрешения, воспользуюсь приглашением сам.

Он обедал в этом доме еще несколько раз – на мой взгляд, слишком часто, чтобы это пошло ему на пользу, хотя я ни в коем случае не собираюсь хулить качество этих обедов; дело в том, что он влюбился в мисс Маргован и сделал ей предложение, которое было без особого восторга принято.

Через несколько недель, после того как меня оповестили о помолвке, но еще до того, как я мог, не нарушая приличий, познакомиться с молодой женщиной и ее семьей, однажды на Кирни-стрит я встретил красивого, но несколько потрепанного мужчину. Что-то заставило меня пойти за ним следом и понаблюдать, и я сделал это без малейшего угрызения совести. Он свернул на Гиэри-стрит и дошел по ней до Юнион-сквер. Тут он посмотрел на часы и вошел в сквер. Некоторое время он бродил по дорожкам, очевидно кого-то поджидая. Вскоре к нему присоединилась элегантно одетая красивая молодая женщина, и они вместе пошли по Стоктон-стрит; я последовал за ними. Теперь

я чувствовал необходимость крайней осторожности, ибо, хотя девушка была мне совершенно незнакома, мне казалось, что она узнала бы меня с первого взгляда. Они несколько раз сворачивали с одной улицы на другую и наконец, поспешно осмотревшись по сторонам и чуть было не заметив меня (я успел спрятаться в каком-то подъезде), вошли в дом, адрес которого я предпочел бы не называть. Расположение этого дома было лучше, чем его репутация.

Поверьте, что мои действия, когда я стал следить за этими незнакомыми мне людьми, не преследовали никакой определенной цели. А стыжусь я этого или нет – зависит от того, что я думаю о человеке, которому об этом рассказываю. Частично отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я излагаю здесь этот рассказ, ничуть не колеблясь и ничего не стыдясь.

Неделей позже Джон повез меня к своему будущему тестю, и в мисс Маргован, как вы уже догадались, я с величайшим изумлением узнал героиню этого предосудительного приключения. Справедливости ради я должен признать, что если приключение и было предосудительным, то героиня его была изумительно красивой женщиной. Это обстоятельство, однако, было знаменательным только в одном отношении: ее красота настолько поразила меня, что я начал было сомневаться в ее тождестве с той молодой женщиной, которую я тогда видел. Как могло случиться, что дивная прелесть ее лица не произвела тогда на меня никакого впечатления? Но нет, ошибки здесь быть не могло; вся разница заключалась в костюме, освещении и окружающей обстановке.

Джон и я провели вечер в этом доме, не теряя хорошего настроения (несомненно, в силу нашего многолетнего опыта), несмотря на все милые шуточки, естественной пищей которым служило наше сходство. Когда я на несколько минут остался наедине с молодой леди, я посмотрел ей в лицо и сказал с внезапной серьезностью:

– У вас, мисс Маргован, тоже есть двойник: я видел ее в прошлый вторник на Юнион-сквер.

На секунду ее большие серые глаза остановились на моем лице, но ее взгляд оказался несколько менее твердым, чем мой; она отвела его и стала пристально рассматривать кончик туфли. Потом она спросила с безразличием, которое показалось мне чуточку наигранным:

– И что же, она была очень похожа на меня?

– Настолько похожа, – сказал я, – что я залюбовался ею, и, не в силах потерять ее из виду, я, признаюсь, шел следом за ней до... Мисс Маргован, вы уверены, что понимаете, о чем идет речь?

Она побледнела, но осталась по-прежнему спокойной. Ее глаза снова встретились с моими, и на этот раз она не отвела взгляда.

– Что же вам угодно? – спросила она. – Не пугайтесь, назовите ваши условия. Я их принимаю.

За то короткое время, которое отведено было мне на размышление, мне стало ясно, что эта девушка требует особого подхода и что обычные нравоучения здесь излишни.

– Мисс Маргован, – начал я, и в моем голосе, без сомнения, в какой-то степени отразилось то сочувствие, которое было у меня в сердце. – Я убежден, что вы стали жертвой жестокого принуждения. Я бы предпочел не подвергать вас новым неприятностям, а помочь вам вернуть вашу свободу.

Она печально и безнадежно покачала головой, а я, волнуясь, продолжал:

– Я тронут вашей красотой. Вы обезоружили меня своей откровенностью и своим горем. Если вы вольны поступать, как подсказывает ваша совесть, то вы, я уверен, поступите наилучшим образом. Если же нет – тогда да смилуется над вами небо! Меня вам нечего опасаться: я буду противиться этому браку по другим мотивам, которые мне удастся изобрести.

Это не были мои точные слова, но таков был смысл сказанного мной под влиянием внезапно охвативших меня противоречивых чувств. Я встал и покинул ее, больше на нее не взглянув. В дверях я встретил остальных и сказал со всем спокойствием, на которое был способен:

– Я простился с мисс Маргован; я и не думал, что уже так поздно.

Джон решил идти со мной. На улице он спросил, не заметил ли я чего-нибудь странного в поведении Джулии.

– Мне показалось, что она нездорова, – ответил я. – Я поэтому и ушел.

Больше на эту тему ничего сказано не было.

На другой день я вернулся домой поздно вечером. События минувшего дня взволновали меня; я чувствовал себя больным. Пытаясь освежиться и вернуть себе ясность мысли, я предпринял прогулку, но меня неотступно преследовало ужасное предчувствие какого-то несчастья, предчувствие, в котором я не отдавал себе отчета. Ночь выдалась холодная и туманная; моя одежда и волосы стали влажными, я весь дрожал от озноба. Переодевшись в халат и домашние туфли и сидя перед пылающим камином, я чувствовал себя еще более неуютно. Теперь я уже не просто дрожал: меня трясло как в лихорадке. Ужас перед каким-то надвигающимся несчастьем так сильно сковал меня и настолько лишил сил, что я пытался прогнать его, вызвав в своей памяти реальное горе; я надеялся развеять мысли о будущем несчастье, заменив их причиняющими боль воспоминаниями прошлого. Я стал думать о смерти родителей, стараясь сосредоточиться на последних печальных сценах, разыгравшихся у их смертного одра и могилы. Все это казалось мне таким неопределенным и нереальным, будто случилось много веков тому назад и касалось кого-то другого. Внезапно, нарушив ход моих мыслей и – не могу найти другого сравнения – разрезав их, как режет сталь туго натянутую веревку, раздался ужасный крик, будто кричал человек в предсмертной агонии! Я узнал голос брата; казалось, он кричал на улице, прямо у меня под окном. Одним прыжком я очутился у окна и распахнул его. Уличный фонарь на противоположной стороне бросал свой тусклый, мертвенный свет на мокрый асфальт и фасады домов. Одиноким полисмен, подняв воротник, стоял, прислонившись к воротам, и спокойно курил сигару. Больше никого не было видно. Я закрыл окно и опустил штору, снова уселся перед камином и попытался сосредоточить мысли на окружавших меня предметах. Чтобы облегчить себе задачу, я решил совершить какое-нибудь привычное действие и посмотрел на часы. Они показывали половину двенадцатого. И снова я услышал этот ужасный крик! На этот раз, казалось, он раздался в комнате, где-то рядом со мной. Ужас на несколько мгновений лишил меня способности двигаться. Я опомнился через несколько минут – не помню, что я делал до этого, – на незнакомой улице, по которой я спешил изо всех сил. Я не знал, где я и куда иду, но вот я взбежал по ступеням в дом, перед которым стояло

несколько карет. В окнах мелькали огни; до меня доносился приглушенный шум голосов. Это был дом, в котором жил мистер Маргован.

Вам, дорогой друг, известно, что там произошло. В одной комнате лежала бездыханная Джулия Маргован, несколько часов назад принявшая яд, а в другой – Джон Стивенс, истекающий кровью от огнестрельной раны в груди, которую он сам себе нанес. Когда я ворвался в комнату и, оттолкнув врачей, положил руку ему на лоб, он открыл глаза, посмотрел невидящим взглядом, медленно закрыл их и умер.

Я пришел в себя только через полтора месяца после случившегося. Жизнь вернулась ко мне в вашем чудесном доме, благодаря заботам вашей милой жены. Все это вы уже знаете, и мне осталось рассказать вам лишь об одном обстоятельстве, хотя оно и не имеет отношения к предмету ваших психологических исследований, вернее к той их области, в которой вы, с присущей вам деликатностью и вниманием, просили меня оказать вам посильную помощь.

Однажды лунной ночью (это произошло через несколько лет после разыгравшейся трагедии) я проходил по Юнион-сквер. Час был поздний, и вокруг никого не было. Как только я приблизился к месту, где некогда я был свидетелем злополучной встречи, мои мысли естественно обратились к некоторым событиям прошлого, и, повинаясь тому безотчетному чувству, которое заставляет нас подолгу задерживаться на мыслях, причиняющих нам особенно сильную боль, я уселся на скамью и погрузился в них. Какой-то человек вошел в сквер и направился по дорожке в мою сторону. Он шел, держа руки за спиной и наклонив голову; казалось, он ничего вокруг не замечал. Когда он приблизился к тому затененному месту, где я сидел, я узнал в нем человека, встречу которого с Джулией Маргован я наблюдал здесь много лет назад. Но он ужасно изменился: поседел, был оборванным и изможденным. Все в нем говорило о беспорядочной жизни и пороках; не менее очевидны были и признаки болезни. Его одежда была неряшлива; волосы падали ему на лоб в странном и в то же время живописном беспорядке. Казалось, его место было не на свободе, а скорее в заключении, – например в больнице.

Без какой-либо определенной цели я поднялся и преградил ему дорогу. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я не нахожу слов, чтобы описать то страшное выражение, которое появилось на его лице. Это было выражение непередаваемого ужаса: он думал, что встретился с глазу на глаз с привидением. Но он был смелым человеком. «Будь ты проклят, Джон Стивенс!» – воскликнул он и, подняв дрожащую руку, хотел нанести мне удар кулаком в лицо, но упал ничком на гравии дорожки. Я повернулся и ушел.

Кто-то нашел его там; он был мертв. О нем ничего не известно, не знают даже его имени. Но знать, что человек мертв, уже достаточно.

Перевод С. Пшенникова

Заполненный пробел

1. Парад вместо приветствия

Летней ночью на невысоком холме, поднимающемся над простором лесов и равнин, стоял человек. Полная луна клонилась к западу, и по этому признаку человек понял, что близок час рассвета, – иначе это трудно было определить. Легкий туман стлался по земле, затягивая низины, но над пеленой тумана четко выделялись на чистом небе темные массы отдельных деревьев. Сквозь туман смутно виднелись два-три фермерских домика, но ни в одном из них не было света. Нигде ни признака жизни, только собачий лай, доносясь издали и повторяясь через равные промежутки времени, скорее стучал, чем рассеивал, впечатление заброшенности и безлюдья.

Человек с любопытством озирался по сторонам; казалось, все окружающее ему знакомо, но он не может найти своего места в нем и не знает, что делать. Так, наверно, мы будем вести себя, восстав из мертвых в ожидании Страшного суда.

В ста шагах от него лежала прямая дорога, белея в лунном свете. Пытаясь «определиться», как сказал бы землемер или мореплаватель, он медленно перевел взгляд с одного конца дороги на другой и заметил в четверти мили к югу смутно чернеющий в тумане отряд кавалерии, который направлялся на север. За ним шла колонна пехоты с тускло поблескивавшими винтовками за спиной. Колонна двигалась медленно и неслышно. Еще отряд кавалерии, еще полк пехоты, за ним еще и еще, непрерывным потоком двигались к тому месту, откуда на них смотрел человек, мимо него и дальше на север. Проехала батарея; канониры, скрестив на груди руки, сидели на лафетах и зарядных ящиках. И вся эта бесконечная процессия, отряд за отрядом, выступала из тьмы с юга и уходила во тьму на север, но не слышно было ни говора, ни стука копыт, ни грохота колес.

Это показалось ему странным: он подумал было, что оглох; произнес это вслух и услышал собственный голос, хотя он звучал как чужой, и это его поразило; ухо его ожидало услышать голос совсем иного тембра и звучания. Однако он понял, что не оглох, и на время успокоился.

Затем он вспомнил, что существует явление природы, известное под названием «акустической тени». Когда человек попадает в акустическую тень, есть такое направление, по которому звук до него не доходит. Во время одного из самых ожесточенных боев войны Севера с Югом – сражения при Гейнс-Милл, в котором участвовало сто орудий, зрители, находившиеся на расстоянии полутора миль, на противоположном склоне долины Чикагомини, не слышали ни звука, хотя очень ясно видели все происходившее. Бомбардировка Порт-Ройал, слышная и ощутимая в Сент-Августине, в ста

пятидесяти милях к югу, не была слышна в двух милях к северу при тихой погоде. За несколько дней до сдачи при Аппоматоксе оглушительная перестрелка между войсками Шеридана и Пикета оставалась неизвестной последнему, — он находился в тылу своей армии, в какой-нибудь миле от линии огня.

Ни один из этих случаев не был известен герою нашего рассказа, но менее значительные явления того же порядка не ускользнули от его внимания. Его тревожило не загадочное безмолвие этого ночного похода, а нечто иное.

«Боже мой, — сказал он себе, и опять ему почудилось, что кто-то другой выражает вслух его мысли, — если это действительно южане, — значит, мы проиграли сражение и они двигаются к Нэшвиллу!»

Потом у него мелькнула мысль о самом себе — тревожное предчувствие, — то ощущение надвигающейся опасности, которое в других мы называем страхом. Он быстро отступил в тень дерева. А молчаливые батальоны все так же медленно и неслышно проходили в тумане.

Вдруг он почувствовал на затылке холодок, и это заставило его взглянуть туда, откуда дохнуло ветром; обернувшись к востоку, он увидел серый свет на горизонте — первый признак наступающего дня. Предчувствие опасности усилилось в нем.

«Надо уходить, — подумал он, — не то меня заметят и возьмут в плен».

Он вышел из тени и быстрым шагом направился кбледнеющему востоку. Из-под прикрытия группы кедров он оглянулся назад. Вся колонна скрылась из виду; прямая дорога белела в лунном свете, безлюдная и пустая.

Он и раньше недоумевал, но теперь был прямо-таки ошеломлен. Как могла пройти армия так быстро, передвигающаяся так медленно! Он этого не понимал. Незаметно проходила минута за минутой — он утратил ощущение времени. Сосредоточив все свои силы, он стал искать решения загадки, но тщетно. Когда наконец он отвлекся от занимавших его мыслей, в которые был погружен, над холмами уже показался краешек солнца, но и солнечные лучи не рассеяли его сомнений.

По обеим сторонам дороги тянулись возделанные поля, и нигде не было заметно опустошений, какие влечет за собой война. Из труб фермерских домиков восходили к небу тонкие струйки дыма, свидетельствуя о приготовлениях к мирным дневным трудам. Собака, прекратив свою извечную жалобу луне, бегала за негром, который, погоняя мулов, запряженных в плуг, мирно напевал то веселые, то печальные мотивы.

Герой нашего рассказа в ошеломлении смотрел на эту мирную картину, как будто никогда в жизни не видел ничего подобного, потом поднес руку к голове, провел ею по волосам и стал внимательно рассматривать ладонь — поведение, непонятное для зрителя. После этого, по-видимому успокоившись, он уверенно зашагал к дороге.

2. Если вы потеряли самого себя, обратитесь к врачу

Доктор Стиллинг Молсон из Морфрисборо, отправившись навестить пациента за шесть или семь миль от дома, по Нэшвилльской дороге, оставался

при больном всю ночь. На рассвете он поехал домой верхом, по обычаю, существовавшему в то время среди окрестных врачей.

Когда он проезжал недалеко от места битвы при Стон-ривер, с обочины дороги к нему подошел человек и отдал честь по-военному, поднеся руку к полям шляпы. Однако шляпа эта была вовсе не армейского образца, человек не носил мундира, и в его движениях не заметно было военной выправки. Доктор вежливо ему поклонился, полагая, что не совсем обычная манера здороваться объясняется уважением к историческим местам. Незнакомец, по-видимому, желал заговорить с ним, и доктор учтиво придержал свою лошадь и стал ждать.

— Сэр, — сказал незнакомец, — вы, быть может, неприятель, хотя вы и штатский.

— Я врач, — лаконически ответил тот.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец, — я лейтенант из штаба генерала Гэзена. — Он замолчал и с минуту пристально вглядывался в человека, к котором обращался, потом прибавил: — Из армии северян..

Врач ограничился кивком.

— Скажите мне, пожалуйста, — продолжал тот, что здесь произошло? Где обе армии? Кто выиграл сражение?

Врач, полузакрыв глаза, с любопытством смотрел на своего собеседника. После наблюдения, длившегося столько времени, сколько позволяла видимость, он сказал:

— Простите меня, но тот, кто спрашивает, не должен и сам уклоняться от ответа. Вы ранены? — прибавил он с улыбкой.

— Кажется, легко.

Человек снял шляпу штатского фасона, провел рукой по волосам и, отняв ее, пристально посмотрел на ладонь.

— Меня задело пулей, и я потерял сознание. Задело, вероятно, слегка, шальной пулей: крови нет, и я не чувствую боли. Я не хочу беспокоить вас просьбой чтоб вы меня осмотрели, но не скажете ли вы, как мне найти свою часть или хоть какой-нибудь отряд армии северян, если вы знаете, где она?

Доктор опять ответил не сразу: он старался припомнить все, что говорится в медицинских книгах о потере памяти и о том, что знакомые места, кажется, помогают вспомнить забытое. Наконец он взглянул человеку в глаза и заметил с улыбкой:

— Лейтенант, почему вы не в мундире, который присвоен вашему званию?

Человек оглядел свой штатский костюм, поднял глаза и сказал с запинкой:

— Это верно. Я... я не понимаю.

Все еще глядя на него зорким, но сочувственным взглядом, доктор спросил напрямик:

— Сколько вам лет?

— Двадцать три, — а почему вас это интересует?

— Я бы этого не сказал; никак нельзя подумать, что вам двадцать три года.

Человек потерял терпение.

— Не стоит об этом спорить, — сказал он. — Мне нужно узнать, где находится армия. Не прошло еще двух часов, как я видел колонну войск, двигавшуюся к северу по этой дороге. Вы, должно быть, встретились с ними.

Будьте добры, скажите, какого цвета на них мундиры, – я сам не мог этого разглядеть, – и больше я не стану вас беспокоить.

– Вы совершенно уверены, что видели их?

– Уверен? Боже мой, сэр, да я мог бы пересчитать их!

– Вот как, – сказал врач, внутренне забавляясь собственным сходством с болтливым цирюльником из «Тысячи и одной ночи», – это очень любопытно. Я не видел никаких войск.

Человек посмотрел на него холодно, словно и он тоже заметил это сходство с цирюльником.

– Видно, вы не хотите мне помочь, – сказал он. – Можете убираться ко всем чертям, сэр!

Он повернулся и, не разбирая дороги, зашагал напрямик через росистые поля, а его мучитель, начинавший уже раскаиваться, спокойно следил за ним со своего наблюдательного поста в седле, пока тот не исчез за деревьями.

3. Как опасно смотреть в лужу

Свернув с дороги, путник замедлил шаг и теперь шел вперед, нетвердой походкой, чувствуя сильную усталость. Он не мог понять, отчего он так устал, хотя чрезмерная словоохотливость деревенского лекаря была сама по себе утомительна. Усевшись на камень, он положил руку на колено, ладонью вниз, и случайно взглянул на нее. Рука была исхудалая, морщинистая. Он поднял обе руки к лицу. Лицо было все в глубоких морщинах: борозды чувствовались на ощупь. Странно! Не могли же простая контузия и короткий обморок превратить человека в развалину.

– Я, верно, очень долго пролежал в госпитале, – сказал он вслух. – Боже, до чего я глуп! Ведь сражение было в декабре, а сейчас лето! – Он засмеялся. – Удивительно, что этот лекарь подумал, будто я сбежал из сумасшедшего дома. Он ошибся: я сбежал всего-навсего из лазарета.

Его внимание привлек маленький клочок земли неподалеку, обнесенный каменной оградой. Без всякой определенной цели он встал и подошел к ней. Посредине стоял тяжелый монумент, сложенный из камня. Он потемнел от времени, выкрошился по углам и был покрыт пятнами мха и лишайника. Между массивными глыбами пробилась трава, и корни ее раздвинули глыбы камня. В ответ на дерзкий вызов этого сооружения время наложило на него свою разрушающую руку, и скоро оно сровняется с землей, «подобно Тиру и Ниневию». В надписи на одной из сторон памятника взгляд его уловил знакомое имя. Задрожав от волнения, он перегнулся всем телом через ограду и прочел:

Бригада генерала Гэзена
солдатам,
павшим в бою
при Стон-ривер, 31 декабря 1862 года

Чувствуя слабость и головокружение, человек повалился на землю. Рядом с ним – стоило только протянуть руку – было небольшое углубление в земле, полное воды после недавнего дождя, – прозрачная лужица. Он подполз к ней, чтобы освежиться, приподнялся, напрягая дрожащие руки, вытянул голову

вперед – и увидел свое отражение, как в зеркале. Он вскрикнул страшным голосом. Руки его ослабели, он упал лицом вниз, прямо в лужу, и нить, связавшая на миг начало и конец его существования, оборвалась навсегда.

Перевод Н. Дарузес

ДЖЕК ЛОНДОН



I

Он был очень спокойный и хладнокровный человек и потому, вскарабкавшись на стену, стал вслушиваться в сырую тьму, стараясь разгадать, не таится ли где опасность. Но слух его уловил лишь завывание ветра в деревьях да шелест листвы на раскачивающихся ветвях. По земле, подгоняемый порывами ветра, полз тяжелый, плотный туман, и хотя он ничего не видел, зато ощущал влажное его дыхание на своем лице. Стена, на которой он сидел, тоже была влажной.

Так же бесшумно, как только что он вскарабкался на стену снаружи, человек соскользнул внутрь. Он достал из кармана электрический фонарик, но не зажег его. Лучше обойтись без света, решил он, хотя кругом царила кромешная тьма. Зажав фонарь в руке и держа палец на кнопке выключателя, он стал подвигаться вперед. Земля была мягкой и слегка пружинила под ногами, потому что ее устилал многолетний слой мертвой хвои, листьев и мха. Ветви цеплялись за одежду, но разглядеть их во тьме и обойти было невозможно. Он протянул руку и стал продвигаться ощупью, но рука то и дело наткалась на толстые стволы огромных деревьев. Кругом высились эти деревья, они подступали со всех сторон, и он вдруг почувствовал, насколько он микроскопически мал среди гигантских стволов, которые нависали над ним, как бы угрожая раздавить. Где то там, за деревьями, находился дом, и он надеялся отыскать какую-нибудь дорожку или извилистую тропинку, которая привела бы его туда.

Однажды ему почудилось, будто он попал в ловушку. Куда бы он ни повернулся, он всюду наткался на стволы, сучья или на густой кустарник; выхода, казалось, не было. Тогда он осторожно зажег фонарь, сначала направив луч на землю, туда, где стоял. Он медленно обводил лучом вокруг себя, и яркий белый свет выхватывал из темноты во всех подробностях преграды на его пути. Потом между двумя огромными деревьями он заметил проход и, погасив фонарь, двинулся туда, стараясь ступать по сухому: густая листва наверху не давала кое-где осесть туману. Он умело ориентировался и знал, что идет к дому.

И тут случилось неожиданное, немыслимое. Его нога ступила на что-то мягкое и живое, и это что-то зафыркало под его тяжестью и стало подниматься. Он отпрыгнул в сторону и замер в напряжённом ожидании, готовый броситься прочь или отразить нападение неизвестного существа. Он подождал немного, пытаясь угадать, что за животное выскочило у него из-под ног, а теперь застыло в неподвижности, без единого звука, так же, очевидно, пригнувшись и настороже, как и он сам. Напряжение становилось невыносимым. Держа фонарь перед собой, он нажал кнопку и закричал от ужаса. Он был готов увидеть что угодно – от напуганного тельца или молодого оленя до кровожадного льва, – но то, что он увидел, явилось

полнейшей для него неожиданностью. На какое-то короткое мгновение тонкий и белый луч фонаря осветил то, что тысячи лет не изгладят из его памяти, — огромного человека с рыжей гривой и бородой; руки, ноги, плечи, большая часть груди были у него обнажены, и только у пояса болталось нечто вроде козлиной шкуры, а ноги были обуты в мокасины из дубленки. Кожа у него была гладкая, без растительности, но потемневшая от солнца и ветра; под ней, точно толстые змеи, тяжелыми узлами сплетались мускулы.

Но даже не появление этого существа, как бы неожиданно оно ни было, заставило человека закричать. Ужас его вызвали невыразимая свирепость в том лице, какой-то животный, дикий блеск голубых глаз, которые почти не ослепил свет, иголки хвои, запутавшиеся в волосах и бороде, огромное тело, изогнувшееся для прыжка. Все это он увидел в одно мгновение. Не успел его крик затихнуть, как существо прыгнуло вперед, а он швырнул в него фонарь и бросился наземь. Он почувствовал его ноги у себя на спине и рванулся в сторону. Существо не удержалось на ногах и тяжело рухнуло в кустарник.

Когда стих треск ветвей, человек замер на четвереньках и прислушался. Существо рыскало неподалеку, и он опасался, что обнаружит свое присутствие, если тронется с места. Непременно хрустнет какая-нибудь ветка, и тогда существо припустится за ним. Он даже вытащил револьвер, но передумал. К нему вернулось самообладание, и он надеялся теперь убраться потихоньку. Он слышал, как странное существо несколько раз принималось колотить по кустам, стараясь обнаружить его, а потом останавливалось и, очевидно, прислушивалось. Это навело человека на одну мысль. Под рукой у него случился кусок засохшего дерева. Он осторожно обшарил вокруг себя руками, дабы убедиться, что не заденет ничего, когда размахнется, потом поднял деревяшку и бросил ее. Деревяшка была небольшая, ему удалось далеко закинуть ее, и она с шумом упала в кусты. Он слышал, как существо метнулось к тому месту, и тут же пополз прочь. Он полз на четвереньках, медленно и осторожно, пока колени его не стали мокрыми от сырой земли. Когда он останавливался и прислушивался, до него доносились лишь завывание ветра, и стук падающих с ветвей капель. Все так же осторожно он поднялся, подбежал к стене, перелез через нее и спрыгнул на дорогу.

Ощупью пробираясь сквозь кусты, он вывел велосипед и приготовился сесть на седло. Он как раз переводил одной ногой передачу, чтобы поставить педаль в удобное положение, когда услышал, как на землю легко и, по-видимому, прямо на ноги спрыгнуло то существо. Он тут же побежал, держа велосипед за руль, потом, разогнавшись, прыгнул на седло, поймал педали и рванулся вперед. Он услышал позади частое топанье ног по пыльной дороге, но надал ход и ушел от преследования.

К несчастью, он в спешке покатиł в сторону, противоположную городу, и теперь поднимался к холмам. Он хорошо знал, что на этой дороге нет ответвлений и вернуться в город можно единственно поехав назад, мимо того чудовища, а он не находил в себе сил решиться. На такой подвиг. Часа через полтора, на каком-то подъеме, который с каждым шагом становился круче, он слез с велосипеда. Оставив его на обочине дороги, он для вящей безопасности перелез через ограду, попав, как он решил, на выгон, расстелил там на земле газеты и сел.

– Ну и ну! – проговорил он, вытирая с лица пот и капли влаги. – Ну и ну! – повторил он, сворачивая сигарету и раздумывая, как бы пробраться к городу.

Но он так и не тронулся с места. Ему не хватило решимости ехать той же дорогой в темноте, и, ожидая рассвета, он уронил голову на колени и задремал.

Человек не знал, сколько прошло времени, когда проснулся, разбуженный тьяканьем молодого койота. Оглядевшись и увидев койота на краю холма позади себя, он заметил, как изменился облик ночи. Туман рассеялся, на небе выпали звезды и выплыла луна, даже ветер приутих. Стояла мягкая летняя калифорнийская ночь. Он снова опустил голову на колени, но тьяканье не давало ему заснуть. Почти в полусне он вдруг услышал какое-то дикое, жуткое пение. Подняв голову, он увидел, как по гребню холма, перестав лаять, бежит койот, а за ним, тоже молча, мчится то нагое существо, которое он встретил в саду. Койот был молодой и сильный, но существо, как он успел заметить, настигало его; потом они скрылись из виду. Человек поднялся, перелез через ограду и вскарабкался на велосипед. Его било как в лихорадке, но надо было спешить, ибо это – единственный шанс на спасение. Чудовище больше не преграждало путь к Мельничной Долине.

Он несся по уклону с головокружительной быстротой, но на повороте в низине, там, где на дорогу падали густые тени, колесо попало в выбоину, и он вылетел через руль из седла.

– Не везет так не везет, – бормотал он, разглядывая сломанную переднюю вилку.

Потом, взвалив велосипед на плечи, он двинулся пешком. Спустя некоторое время он добрался до каменной ограды сада и, дабы удостовериться, что с ним действительно случилось то странное происшествие, стал искать следы на дороге. Вот они! Огромные, глубоко ушедшие у пальцев в землю, следы мокасин. Он наклонился, рассматривая их, и тут снова услышал жуткое пение. Он видел, как чудовище гналось за койотом, и понял, что ему не убежать. Он и не пытался обратиться в бегство, решив, что лучше спрятаться в тени на дальней, от стены, стороне дороги.

Затем он снова увидел то существо, похожее на голого человека, – оно быстро, легко бежало и пело на ходу. Потом оно остановилось как раз напротив человека, и сердце того замерло. Но существо не направилось к тому месту, где он укрылся; подпрыгнув, оно ухватило за сук стоявшего у дороги дерева и, перебирая руками, быстро, по-обезьяньи, вскарабкалось наверх. Оттуда оно перемахнуло через стену, футах в десяти от нее и уцепилось за ветви другого дерева, а потом спрыгнуло на землю в сад. Человек в недоумении постоял несколько минут, потом потихоньку пошел прочь.

II

Дейв Слоттер воинственно облокотился на перегородку, отделявшую приемную от кабинета Джеймса Уорда, старшего компаньона фирмы «Уорд, Ноулз и К°». Дейва злило, что посматривают на него как-то подозрительно, особенно тот, который стоял перед ним.

– Передайте мистеру Уорду, что я по очень важному делу, – наседал Дейв.

– Я объяснил вам, что мистер Уорд сейчас занят: он диктует стенографистке, – отвечал человек. – Приходите завтра.

– Завтра будет поздно! Доложите ему, что речь идет о жизни или смерти.

Секретарь заколебался, и Дейв поспешил воспользоваться случаем.

– Скажите ему, что вчера вечером я был в Мельничной Долине, там, за заливом, и хочу кое-что сообщить.

– Как доложить? – осведомился секретарь.

– Он не знает меня.

Дейв все еще пребывал в воинственном расположении духа, когда его провели, в кабинет, но пыл его поостыл, как только он увидел крупного рыжеволосого мужчину, который, закончив фразу стенографистке, повернулся на вращавшемся кресле к нему. Дейв не знал, почему у него пропал пыл, и злился на себя в душе.

– Вы мистер Уорд? – Он не нашел ничего лучшего, как задать этот глупый вопрос, и оттого разозлился на себя еще больше. Он вовсе не собирался задавать этот вопрос.

– Да, – отвечал мужчина. – А кто вы?

– Гарри Бэнкрофт, – соврал Дейв. – Вы меня не знаете, и мое имя ничего не скажет вам.

– Вы передали, что вчера вечером были в Мельничной Долине. Ну и что?

– Вы ведь там живете? – в свою очередь спросил Дейв, выразительно поглядев в сторону стенографистки.

– Да, я там живу. По какому делу вы хотели меня видеть? Я очень занят.

– Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Мистер Уорд оглядел его быстрым, оценивающим взглядом, подумал и сказал:

– Мисс Поттер, сделаем перерыв на несколько минут.

Девушка поднялась, собрала свои бумаги и вышла из кабинета. Дейв с любопытством взирал на мистера Джеймса Уорда, пока тот не прервал цепь зарождавшихся мыслей посетителя:

– Итак...

– Вчера вечером я был в Мельничной Долине, – запинаясь начал Дейв.

– Это я уже слышал. Что вам угодно?

В Дейве крепло совершенно немыслимое предположение, но он продолжал:

– Я был в вашем доме, вернее, в вашем саду.

– Что вы там делали?

– Я хотел ограбить вас, – откровенно ответил Дейв. – Мне стало известно, что вы живете один с поваром-китайцем, и я решил, что дело безопасное. Но я не попал в дом. Мне помешали. Вот почему я здесь. Я пришел предупредить вас: в вашем саду бегает какой-то дикарь, чистый дьявол, скажу я вам. Такого, как я, на кусочки разорвет. Мне едва удалось спастись. Он совсем почти голый, лазает по деревьям, как обезьяна, и бегает, как олень. Я видел, как он гнался за койотом, и, черт побери, он, кажется, догнал его.

Дейв замолчал, ожидая, какое впечатление произведет его рассказ. Но рассказ не произвел никакого впечатления. Джеймс Уорд выслушал Дейва со спокойным интересом, не более того.

– Странно, весьма странно, – негромко произнес он. – Так вы говорите, – дикарь? А зачем вы рассказали об этом мне?

– Чтобы предупредить вас об опасности. Я в некотором роде тоже опасен, но чтоб убивать людей... то есть если нет крайней необходимости. Вам угрожает опасность, и я решил предупредить о том. Вот и все, можете мне поверить. Само собой, если бы вы пожелали вознаградить меня за хлопоты, я бы не отказался. Это я тоже имел в виду. Впрочем, мне безразлично, отблагодарите вы меня или нет. Я рассказал вам все и выполнил свой долг.

Мистер Уорд задумчиво барабанил пальцами по столу. Дейв обратил внимание, что руки у него были большие, крепкие и ухоженные, несмотря на темный загар. Он снова посмотрел на крошечный кусочек пластыря тельного цвета над бровью, который бросился ему в глаза, как только он вошел. И все же он никак не мог принять ту мысль, что настойчиво лезла в голову.

Мистер Уорд достал бумажник из внутреннего кармана пиджака и, вытянув оттуда банкноту, отдал ее Дейву. Убирая бумажку в карман, тот успел заметить, что банкнота была достоинством в двадцать долларов,

– Благодарю вас, – сказал мистер Уорд, давая понять, что разговор окончен. – Я непременно попрошу проследить за этим делом. Дикарь в собственном саду – это действительно небезопасно.

Но настолько невозмутим был мистер Уорд, что Дейв осмелел. Кроме того, ему явилась новая мысль. А что, если дикарь – лунатик, которого упрятали с глаз, и доводится мистеру Уорду братом? Дейв слышал о таких случаях. Очевидно, мистер Уорд не хочет, чтобы дело получило огласку. Вот и сунул ему двадцать долларов.

– Послушайте, – начал Дейв, – мне только что пришло в голову, что тот дикарь здорово похож на вас...

Дейв не нашел сил продолжать, пораженный переменой в облике своего собеседника: он увидел те же невыразимо свирепые голубые глаза, что горели в темноте прошлой ночью, те же скрюченные, точно когти, руки, то же огромное тело, изготовившееся для прыжка. На этот раз у Дейва не было фонаря, который он мог бы швырнуть в лицо, поэтому в тот же миг плечи его сжало железное объятие, и он застонал от боли. Он увидел белые оскаленные клыки, как у собаки, что вот-вот укусит. Борода мистера Уорда терлась о его лицо, зубы приближались к горлу. Но мистер Уорд не укусил. Напротив, Дейв почувствовал, что его противник напрягся, словно зажатый в мощных тисках, затем легко, будто играючи, но с такой силой отшвырнул его, что Дейв отлетел к стене и, ловя ртом воздух, свалился на пол.

– Шантажировать пришел? – прорычал мистер Уорд. – А ну отдавай назад деньги!

Дейв молча протянул банкноту.

– Я полагал, у тебя добрые намерения. Теперь вижу, что ты за птица. Убирайся, чтоб духу твоего тут не было, иначе я быстренько упрячу тебя за решетку! Там твое место. Понятно?

– Да, сэр, – едва проговорил Дейв.

– А теперь убирайся!

Дейв молча повернулся и пошел к выходу; от того железного объятия отчаянно болели плечи. Когда он взялся за ручку двери, мистер Уорд заговорил:

– Скажи спасибо, что дешево отделался. – Глаза у него светились жестокостью и надменностью. – Я бы тебе руки оторвал, если бы захотел, и в мусорную корзинку выбросил.

– Понимаю, сэр, – с полной убежденностью в голосе отвечал Дейв.

Он открыл дверь и вышел. Секретарь вопросительно поднял голову.

– Ну и ну, – единственно и произнес Дейв, покидая приемную мистера Уорда, а заодно и наш рассказ.

III

Джеймсу Дж. Уорду стукнуло сорок лет, он был весьма преуспевающий бизнесмен и очень несчастный человек. В течение сорока лет он тщетно пытался разрешить проблему собственной личности, и эта проблема с каждым годом становилась все более страшным несчастьем. В его телесной оболочке обитали как бы два человека, и с точки зрения времени их разделял промежуток в несколько тысяч лет или около того. Он изучил проблему раздвоения личности более тщательно, чем любой из специалистов в этой запутанной и загадочной области психологии. В литературе он не нашел случая, подобного своему. Даже в описаниях беллетристов, отличающихся буйным полетом фантазии, он не обнаружил ничего похожего. Он не был ни доктором Джекилом, ни мистером Хайдом, ни тем несчастным молодым человеком из киплингвской «Самой великой истории на свете». Обе личности в нем были так слиты, что все время каждая из них знала о соседстве другой.

Одна личность была личностью человека современного воспитания и образования, обитавшего в последней четверти девятнадцатого века и первом десятилетии двадцатого. Другая личность принадлежала дикарю, варвару, обитавшему в условиях первобытного существования тысячи лет назад. И Джеймс Уорд так и не мог решить, кем именно был он, ибо постоянно ощущал в себе обе личности. Почти не случалось так, чтобы одно его «я» не знало, что делает другое. Кроме того, к нему не приходили ни видения прошлого, в котором существовало его первобытное «я», ни даже воспоминания о нем. Эта первобытная личность жила сейчас, в настоящем времени, но тем не менее ее всегда тянуло к образу жизни, который приличествовал тому далекому прошлому.

В детстве он был сущим наказанием для матери, отца и докторов, пользовавших семью, хотя никто даже не приблизился к разгадке странного поведения Джеймса. Никто не мог понять, к примеру, откуда у мальчика чрезмерная сонливость в утренние часы и чрезмерный подъем вечером. Не раз видели, как он ночью бродил по коридорам, лазал по крышам на головокругильной высоте или бегал по холмам, и все решили, что мальчик – лунатик. На самом же деле он вовсе не спал – первобытная личность в нем толкала его бродить по ночам. Однажды он рассказал правду какому-то недалекому лекарю, но в ответ за откровенность тот презрительно высмеял его и назвал все «выдумкой». Однако каждый раз, когда спускались сумерки и наступал вечер, сон словно бежал прочь от Джеймса Уорда. Стены комнаты казались клеткой, раздражали. Он слышал в темноте тысячи каких-то голосов,

разговаривающих с ним. Ночь звала его, ибо из всех частей суток именно ночь гнала его из дома. Никто ничего не мог понять, а он не пытался объяснить. Его считали лунатиком и принимали соответствующие меры предосторожности, но они в большинстве случаев оказывались тщетными. С возрастом мальчик становился хитрее, так что чаще всего проводил ночи на открытом воздухе, наслаждаясь свободой. Потом, разумеется, спал до полудня. Поэтому утренние занятия исключались, и лишь днем нанятые учителя могли научить юного Джеймса кое-чему. Так воспитывалась и развивалась современная личность мистера Уорда.

Да, ребенком он был сущим наказанием, таким потом и остался. Он слыл за злого, бессмысленно жестокого чертенка. Домашние врачи в душе считали его умственным уродом и дегенератом. Приятели-мальчишки, которых насчитывались единицы, превозносили его как «силу», но страшно боялись. Он лучше всех лазал по деревьям, быстрее всех плавал и бегал – словом, был самым отчаянным сорванцом, и никто не осмеливался задирать его. Он моментально впадал в ярость и в порыве гнева обладал феноменальной силой.

Когда Джеймсу было девять лет от роду, он убежал в холмы и больше месяца, пока его не нашли и не вернули домой, жил вольной жизнью, скитаясь по ночам. Каким чудом удалось ему не умереть с голоду и вообще выжить, никто не знал. А он и не думал рассказывать о диких кроликах, которых он убивал, о том, как ловил и пожирал выводки перепелов, делал набеги на курятники на фермах, о том, как соорудил и выстлал сухими листьями и травой берлогу, где наслаждался в тепле утринным сном.

В колледже Джеймс славился сонливостью и тупостью на утренних лекциях и блестящими успехами на дневных. Занимаясь самостоятельно по пособиям и конспектам товарищей, он кое-как ухитрялся сдавать экзамены по тем ненавистным ему предметам, которые читались по утрам, зато в других предметах, читавшихся днем, успевал преотлично. Он считался в колледже звездой футбола и грозой для противников, в легкой атлетике его тоже привыкли видеть первым, хотя порой он обнаруживал приступы совершенно непонятной ярости. Что касается бокса, то товарищи попросту боялись встречаться с ним: последнюю схватку он озаменовал тем, что впился зубами в плечо своему противнику.

После окончания Джеймсом колледжа отец его был в отчаянии, не зная, что делать со своим отпрыском, и наконец решил отправить его на дальнейшее ранчо в Вайоминг. Три месяца спустя выдавшие виды ковбои вынуждены были признать, что не могут совладать с Джеймсом, и телеграфировали его отцу, чтобы тот забирал назад своего дикаря. Когда отец приехал, ковбои в один голос заявили, что предпочитают скорее иметь дело с завывающими людоедами, заговаривающимися лунатиками, скачущими гориллами, громадными медведями и разъяренными тиграми, чем с этим выпускником колледжа, носившим аккуратный прямой прибор.

Единственное, что он помнил из жизни своего первобытного «я», был язык. В силу загадочных явлений атавизма в его сознании сохранилось немало слов и фраз первобытного языка. В минуты блаженства, восторга, схватки он имел привычку издавать дикие звуки или разражаться первобытными напевами. Благодаря этим выкрикам и напевам он с точностью обнаруживал в себе ту пережившую свое время личность, которая давным-давно, тысячи

поколений назад, должна была бы стать прахом. Однажды он намеренно спел несколько древних мелодий в присутствии известного лингвиста, профессора Верца, читавшего курс древнеанглийского языка и до самозабвения влюбленного в свой предмет. Прослушав первую песню, профессор наострил уши и пожелал узнать, что это – тарабарский жаргон или испорченный немецкий. После второй он пришел в крайнее возбуждение. Джеймс Уорд закончил свое выступление мелодией, которая неудержимо срывалась у него с уст во время схватки или боя. Тогда профессор Верц объявил, что это не тарабарщина, а древнегерманский, вернее, прагерманский такой давней эпохи, о какой языковеды и понятия не имеют. Он даже представить не мог, в какую глухую древность уходил тот язык, и все же опытное ухо профессора улавливало в нем нечто такое, что отдаленно напоминало знакомые архаичные формы. Он пожелал узнать, откуда известны Джеймсу эти песни, и попросил его одолжить ему на время ту бесценную книгу, где они приведены. Кроме того, он пожелал узнать, почему Уорд делал вид, будто он круглый невежда по части германских языков. Уорд, разумеется, не смог ни объяснить, почему держался невеждой, ни дать профессору ту книгу. Тогда после длительных, в течение нескольких недель, уговоров и просьб профессор невзлюбил Уорда и стал называть его шарлатаном и бессовестным эгоистом – подумать только, не позволил и краем глаза заглянуть в тот удивительный список на языке, который был древнее, чем самый древний из тех языков, что когда-либо обращали на себя внимание лингвистов.

Сообщение о том, что он наполовину современный, американец, а наполовину древний тевтонец, отнюдь не способствовало хорошему настроению вконец запутавшегося молодого человека. Современный американец был, однако, сильного характера, так что он, Джеймс Уорд (если он и в самом деле существовал и имел право на самостоятельную жизнь), принудил к согласию, вернее, компромиссу второго человека, что жил в нем, дикаря, который бродил по ночам, не давая спать своему соседу – культурному, изысканному джентльмену, который хотел жить, любить и заниматься делами, как все нормальные люди. Днем и к вечеру он давал волю одной своей личности, ночью – другой, а утром и урывками в ночные часы отсыпался за двоих. Утром он спал в кровати, как всякий цивилизованный человек. Ночью он спал, как дикое животное, среди деревьев, как и в тот момент, когда на него наступил Дейв Слоттер.

Убедив своего отца ссудить ему значительный капитал, Джеймс Уорд начал заниматься коммерцией, надо признаться, энергично и успешно; он целиком отдавался делам днем, а его компаньон работал по утрам. Покончив с делами, он бывал на людях, но как только время приближалось к девяти или десяти, его охватывало непреодолимое беспокойство, и он поспешно покидал людей до следующего дня. Друзья и знакомые предполагали, что Джеймс Уорд увлечен спортом. И они не ошибались в своем предположении, хотя ни один не догадывался, каким именно видом спорта, даже если бы увидели, как ночью в холмах Мельничной Долины он гоняется за койотами. И никто не верил капитанам каботажных судов, которые утверждали, что не раз холодным зимним утром в проходе Рэкун во время прилива или в быстром течении между островами Козерога и Ангела они видели в нескольких милях от берега плывущего по волнам человека.

На своей вилле в Мельничной Долине Джеймс Уорд жил в полном уединении, если не считать Ли-Синга, повара-китайца и доверенного, который достаточно знал о странностях своего хозяина, но ему хорошо платили за то, чтобы он держал язык за зубами, и он научился молчать. Вдоволь наладившись ночными прогулками и выспавшись утром, Джеймс Уорд после плотного завтрака, приготовленного Ли-Сингом, в полдень переправлялся на пароме через залив в Сан-Франциско и являлся в клуб или контору таким же нормальным, уравновешенным бизнесменом, как и любой другой в городе. Но вот наступал вечер, и ночь снова звала его. Им овладевало беспокойство, обострялось восприятие. Слух становился чутким, и несметное множество ночных шорохов рассказывало ему знакомую увлекательную повесть. И если он бывал наедине с самим собою, то начинал нетерпеливо мерить шагами тесную комнату, точно хищник, попавший в клетку.

Однажды он отважился влюбиться. Но с тех пор ни разу не позволял себе подобного развлечения. Он боялся. Дело в том, что некая насмерть перепуганная молодая леди целую неделю ходила с синяками на руках и плечах, – то были следы ласк, которыми он осыпал ее в приливе нежности, но – увы! – слишком поздно вечером. Случись то свидание днем, все сошло бы превосходно: он был бы обыкновенным, в меру страстным возлюбленным, а не свирепым дикарем из непроходимых германских лесов, умыкающим женщину. Из полученного опыта он заключил, что дневные свидания могут быть успешными, но одновременно пришел к убеждению, что в случае женитьбы семейная жизнь его неминуемо обречена на провал. Он с ужасом представлял себе, как останется наедине с женой после наступления темноты.

Поэтому Джеймс Уорд сторонился женщин, регулировал свою двойную жизнь, сколачивал первый миллион в деле, избегал деятельных мамаш, жаждущих сбить с рук молоденьких дочек разного возраста, но с одинаково нетерпеливым огоньком в глазах, встречался с Лилиан Джерсдейл, причем взял за правило никогда не устраивать свиданий позднее восьми вечера, по ночам гонялся наперегонки с койотами, засыпал в лесных берлогах и ухитрялся держать свою жизнь втайне ото всех, за исключением Ли-Синга... а потом и Дейва Слоттера. Его встревожило, что тому парню удалось видеть двух человек, что жили в нем. Правда, он порядком напугал этого громилу, но тот все равно может проболтаться. И даже если он не проболтается, то рано или поздно его тайна все-таки выплывет наружу.

Так Джеймс Уорд решил сделать еще одну героическую попытку обуздать тевтонца-варвара, который составлял половину его существа. Настолько неукоснительно следовал он правилу встречаться с Лилиан только днем и ранним вечером, что настало время, когда она примирилась с этим – может, оно и к лучшему, а он ревностно молил в душе, чтобы дела не обернулись к худшему. Никакой, наверное, чемпион не готовился к состязанию так усиленно и прилежно, как тренировался в течение этого времени Джеймс Уорд, чтобы покорить в себе дикаря. Помимо всего прочего, он старался так измотать себя за день, чтобы от усталости не слышать потом зова ночи. Он часто отрывался от дел и предпринимал длительные прогулки, охотясь за красным зверем в самых глухих и недоступных уголках в округе, но делал это непременно днем. Вечером, усталый он возвращался к себе. Дома он установил с десятое гимнастических снарядов, сотни раз проделывал те

упражнения, которые другой делал бы десять – двенадцать раз. В качестве уступки самому себе он приказал пристроить внизу открытую веранду, где спал, наслаждаясь по крайней мере пряным запахом ночи. Ли-Синг вечером запер его там и выпускал только утром, двойная сетка не давала ему возможности сбежать в лес.

Наконец в августе он нанял слуг в помощь Ли-Сингу и рискнул пригласить в Мельничную Долину гостей – Лилиан, ее мать и брата и человек шесть общих друзей. В течение двух дней он держался превосходно. На третий, засидевшись допоздна за бриджем, Джеймс Уорд имел все основания гордиться собой. Он умело скрывал возникающее порой беспокойство, но случилось так, что Лилиан Джерсдейл оказалась его противником в бридже и сидела справа. Это была хрупкая, как цветок женщина, и ее хрупкость буквально распалила его в тот вечер. Не то чтобы она меньше нравилась ему в такие минуты – нет, он просто испытывал неудержимое желание схватить ее и растерзать – особенно тогда, когда она выигрывала.

Он приказал привести в комнату шотландскую борзую, и когда оказалось, что мускулы его вот-вот разорвутся от напряжения, он гладил собаку. Почувствовав шерсть под рукой, он немедленно успокаивался и мог продолжать игру. Никто не догадывался, что за беспечным смехом, тонкой, расчетливой игрой радушный хозяин с трудом сдерживает бушевающие его страсти.

Когда стали расходиться на ночь, Джеймс Уорд намеренно простился с Лилиан в глазах у всех. А после того как Ли-Синг запер его в комнате, Джеймс Уорд принялся за физические упражнения, вдвое и даже втрое увеличивая их продолжительность, пока, выбившись из сил, не свалился на диван, стоявший на веранде. Пытаясь заснуть, он размышлял над двумя проблемами, которые особенно тревожили его. Прежде всего – эти упражнения. Странная вещь: чем усиленнее он занимался, тем больше прибывало в нем сил. Он, разумеется, вконец изнурял жившего в себе ночного бродягу-тевтонца, но таким образом, сдавалось ему, лишь отодвигал тот роковой день, когда энергия, копившаяся в нем, вдруг прорвется наружу чудовищной, невиданной прежде волной. Другой задачей была женитьба и уловки, к которым придется прибегать, чтобы не оставаться наедине с женой после наступления темноты.

В Мельничной Долине потом долго ломали голову, откуда в ту ночь забрел туда медведь, хотя участники цирка «Братьев Спрингс», дававшего представления в Сосалито, сбились с ног, разыскивая Большого Бена – самого «крупного медведя в неволе». Но Большой Бен ушел от погони и из полутысячи имений и вилл почему-то выбрал для посещения парк Джеймса Уорда. Первое, что осознал мистер Уорд, когда, дрожа от напряжения, вскочил на ноги, был пламень схватки в груди и древняя боевая песнь на устах. Снаружи доносились залиvistый лай и злобное рычание собак. Потом этот адский шум внезапно, словно удар ножом, прорезал пронзительный визг раненой собаки – он знал, что это его собака.

Не надевая туфель, в одной пижаме он взломал дверь, которую так тщательно запирали Ли-Синг, одним махом сбежал с лестницы и выскочил на улицу. Но как только босые ноги его коснулись гравия, которым была посыпана дорожка, он резко остановился, нагнувшись, пошарил рукой в

заветном месте под крыльцом и вытащил огромную сучковатую дубину – верного спутника по безумным ночным приключениям среди холмов. Яростный собачий лай приближался, и, размахивая дубиной, он прыгнул в чашу навстречу ему.

Встревоженные, гости собрались на большой веранде. Кто-то включил свет, но они не видели ничего, кроме своих перепуганных лиц. По другую сторону ярко освещенной дорожки черной стеной стояли деревья. И где-то там, в непроглядной тьме, шла страшная схватка. Оттуда доносились дикие крики животных, вой, рычание, звуки ударов, треск ломающихся под тяжелыми прыжками кустов.

Волна боя выкатилась из-за деревьев на дорожку как раз перед верандой. И тут они увидели все. Миссис, Джерсдейл закричала и, теряя сознание, ухватилась за сына. Лилиан судорожно, так что потом долго ныли кончики пальцев, вцепилась в перила и, застыв от ужаса, смотрела на рыжеволосого, с неистовым огоньком в глазах великана, узнавая в нем человека, который должен стать ее мужем. Мерно взмахивая дубиной, он яростно наносил удары косматому медведю, такому огромному, какого ей ни разу не доводилось видеть.

Лилиан Джерсдейл было очень страшно за любимого человека, и все же немалую долю того страха внушал он сам. Разве могла она представить, что под крахмальной рубашкой и модным костюмом ее суженого таился такой грозный, величественный дикарь? И разве она знала, каков мужчина в бою? Схватка, что кипела у нее перед глазами, не была, разумеется, схваткой нынешнего времени, и мужчина не был современным человеком. То был не мистер Джеймс Дж. Уорд, бизнесмен из Сан-Франциско, а некто неизвестный и безымянный, какой-то свирепый, первобытный дикарь, который прихотью случая ожил много тысячелетий спустя.

Продолжая бешено лаять, собаки метались вокруг, бросаясь на медведя и отвлекая его внимание. Как только зверь поворачивался, чтобы отразить нападение сзади, человек прыгал вперед и обрушивал на него свою, дубину. Разъяренный медведь снова кидался на противника, но тот отскакивал, стараясь не налететь на собак, отступал, кружил взад и вперед. Тогда собаки опять бросались на медведя, и тот опять огрызался на них.

Конец схватки был неожиданным. Повернувшись, медведь со всего размаха так хватил собаку лапой, что она с перебитым позвоночником и сломанными ребрами отлетела футов на шесть в сторону. Зверь в человеке впал в неистовство. На губах у него выступила пена, из груди вырвался дикий, нечленораздельный вопль; он рванулся вперед и, размахнувшись, изо всех сил опустил дубину на голову поднявшегося на задние лапы животного. Даже череп медведя не мог выдержать такого, сокрушительной силы, удара; и зверь рухнул на землю, где его принялись терзать собаки. Человек, перемахнув через рычащую свору, вскочил на медвежью тушу и там, освещенный ярким светом, опираясь на свою дубину, запел на неизвестном наречии победную песнь – такую древнюю, что профессор Верц отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать ее.

Гости кинулись к победителю, бурно приветствуя его, по тут Джеймс Уорд внезапно посмотрел глазами древнего тевтонца на хрупкую белокурую девушку двадцатого века, которую он любил, и что-то оборвалось в нем.

Неверными шагами он направился к ней, потом уронил дубинку и, пошатнувшись, чуть не упал. Что-то случилось с ним. Невыносимо болела голова. Душа, казалось, распадается на части. Он обернулся, следя глазами за взглядами остальных, и увидел обглоданный скелет медведя. Он закричал, рванулся было бежать, но его удержали и бережно отвели в дом.

Джеймс Дж. Уорд по-прежнему заправляет делами фирмы «Уорд, Ноулз и К°». Но он не живет теперь за городом и не гоняется лунными ночами за койотами. Живший в нем древний тевтонец умер в ту ночь, когда в Мельничной Долине произошла схватка с медведем. Теперь Джеймс Дж. Уорд – только Джеймс Дж. Уорд и никто больше; ни единую часть своего существа не делит он с бродягой, случайно уцелевшим с тех времен, когда мир был юным. Джеймс Дж. Уорд стал настолько современным человеком, что вполне познал безотчетный страх, который горьким проклятием висит над цивилизацией. Он боится темноты, и мысль о том, чтобы пойти ночью в лес на прогулку, повергает его в смятение. Городской дом Джеймса Уорда – пример порядка и изящества, а хозяин его обнаруживает большой интерес ко всякого рода устройствам, защищающим от взломщиков. По стенам всюду протянуты провода, и после того как расходятся спать, редкий гость повернется в своей постели без того, чтобы не включился сигнал тревоги. Джеймс Уорд самолично изобрел комбинированный дверной замок без ключей, который можно при переездах носить в жилетном кармане и безбоязненно использовать при любых условиях. Но жена не считает его трусом. Она знает, что муж ее не трус. А он, подобно любой знаменитости, преспокойно почиет на лаврах. Мужество Джеймса Дж. Уорда не ставится под сомнение теми из его друзей, которые знают о происшествии в Мельничной Долине,

Перевод Г. Злобина

Р. БРЭДБЕРИ



Вельд¹

– Джорджи, пожалуйста, посмотри детскую комнату.

– А что с ней?

– Не знаю.

– Так в чем же дело?

– Ни в чем, просто мне хочется, чтобы ты ее посмотрел, или пригласи психиатра, пусть он посмотрит.

– При чем здесь психиатр?

– Ты отлично знаешь при чем. – Стоя посреди кухни, она глядела на плиту, которая, деловито жужжа, сама готовила ужин на четверых. – Понимаешь, детская изменилась, она совсем не такая, как прежде.

– Ладно, давай посмотрим.

Они пошли по коридору своего звуконепроницаемого дома типа «Все для счастья», который стал в тридцать тысяч долларов (с полной обстановкой), – дома, который их одевал, кормил, холил, укачивал, пел и играл им. Когда до детской оставалось пять шагов, что-то щелкнуло, и в ней зажегся свет. И в коридоре, пока он шли, один за другим плавно, автоматически загорались и гасли светильники.

– Ну, – сказал Джордж Хедли.

Они стояли на крытом камышовой циновкой полу детской комнаты. Сто сорок четыре квадратных метра, высота – десять метров; она одна стоила пятнадцать тысяч. «Дети должны получать все самое лучшее», заявил тогда Джордж.

Тишина. Пусто, как на лесной прогалине в знойный полдень. Гладкие двухмерные стены. Но на глазах у Джорджа и Лидии Хедли они, мягко жужжа, стали таять, словно уходя в прозрачную даль, и появился африканский вельд – трехмерный, в красках, как настоящий, вплоть до мельчайшего камешка и травинки. Потолок над ними превратился в далекое небо с жарким желтым солнцем.

Джордж Хедли ощутил, как на лбу у него проступает пот.

– Лучше уйдем от солнца, – предложил он, – уж больно естественное. И вообще, я ничего такого не вижу, все как будто в порядке.

– Подожди минуточку, сейчас увидишь, – сказала жена.

В этот миг скрытые одорофоны, вступив в действие, направили волну запахов на двоих людей, стоящих среди опаленного солнцем вельда. Густой, сушащий ноздри запах жухлой травы, запах близкого водоема, едкий, резкий запах животных, запах пыли, которая клубилась в раскаленном воздухе облачком красного перца. А вот и звуки: далекий топот антилопных копыт по упругому дерну, шуршащая поступь крадущихся хищников.

¹ Вельд – название диких степей Южной Африки.

В небе проплыл силуэт, по обращенному вверх потному лицу Джорджа Хедли скользнула тень.

– Мерзкие твари, – услышал он голос жены.

– Стервятники...

– Смотри-ка, львы, вон там, вон, вон! Пошли на водопой. Видишь, они там что-то ели.

– Какое-нибудь животное. – Джордж Хедли защитил воспаленные глаза ладонью от слепящего солнца. – Зебру... или жирафенка...

– Ты уверен? – Ее голос звучал как-то странно.

– Теперь-то уверенным быть нельзя, поздно, – шутливо ответил он. – Я вижу только обглоданные кости да стервятников, которые подбирают ошметки.

– Ты не слышал крика? – спросила она.

– Нет.

– Так с минуту назад?

– Ничего не слышал.

Львы медленно приближались. И Джордж Хедли – в который раз – восхитился гением конструктора, создавшего эту комнату. Чудо совершенства – за абсурдно низкую цену. Всем бы домовладельцам такие! Конечно, иногда они отталкивают своей клинической продуманностью, даже пугают, вызывают неприятное чувство, но чаще всего служат источником забавы не только для вашего сына или дочери, но и для вас самих. Когда вы захотите развлечься короткой прогулкой в другую страну, сменить обстановку. Как сейчас, например!

Вот они, львы, в пятнадцати футах, такие правдоподобные – да-да, такие до ужаса, до безумия правдоподобные, что ты чувствуешь, как твою кожу щекочет жесткий синтетический мех, а от запаха разгоряченных шкур у тебя во рту вкус пыльной обивки, их желтизна отсвечивает в твоих глазах желтизной французского гобелена... Желтый цвет шкуры и жухлой травы, шумное львиное дыхание в тихий полуденный час, запах мяса из открытых, влажных от слюны пастей.

Львы остановились, глядя жуткими желто-зелеными глазами на Джорджа и Лидию Хедли.

– Берегись! – вскричала Лидия.

Львы ринулись на них.

Лидия стремглав бросилась к двери, Джордж непроизвольно побежал следом. И вот они в коридоре, дверь захлопнута, он смеется, она плачет, и каждый озадачен реакцией другого.

– Джордж!

– Лидия! Моя бедная, дорогая, милая Лидия!

– Они чуть не схватили нас!

– Стены, Лидия, светящиеся стены, только и всего, не забывай. Конечно, я не спорю, они выглядят очень правдоподобно – Африка в вашей гостиной! – но все это лишь повышенного воздействия цветной объемный фильм и психозапись, проектируемые на стеклянный экран, одорофоны и стереозвук. Вот, возьми мой платок.

– Мне страшно. – Она подошла и всем телом прильнула к мужу, тихо плача. – Ты видел? Ты почувствовал? Это чересчур правдоподобно.

– Послушай, Лидия...
– Скажи Венди и Питеру, чтобы они больше не читали про Африку.
– Конечно... конечно. – Он погладил ее волосы.
– Обещаешь?
– Разумеется.
– И запири детскую комнату на несколько дней, пока я не справлюсь с нервами.

– Ты ведь знаешь, как трудно с Питером. Месяц назад я наказал его, запер детскую комнату на несколько часов – что было! Да и Венди тоже... Детская для них – все.

– Ее нужно запереть, и никаких поблажек.
– Ладно. – Он неохотно запер тяжелую дверь. – Ты переутомилась, тебе нужно отдохнуть.

– Не знаю... Не знаю. – Она высморкалась и села в кресло, которое тотчас тихо закачалось. – Возможно, у меня слишком мало дела. Возможно, остается слишком много времени для размышлений. Почему бы нам на несколько дней не запереть весь дом, не уехать куда-нибудь?

– Ты хочешь сказать, что готова сама жарить мне яичницу?

– Да. – Она кивнула.

– И штопать мои носки?

– Да. – Порывистый кивок; глаза полны слез.

– И заниматься уборкой?

– Да, да... Конечно!

– А я-то думал, мы для того и купили этот дом, чтобы ничего не делать самим?

– Вот именно. Я здесь вроде ни к чему. Дом – и жена, и мама, и горничная. Разве я могу состязаться с африканским вельдом? Разве могу искупать и отмыть детей так быстро и чисто, как это делает автоматическая ванна? Не могу. И не во мне одной дело, а и в тебе тоже. В последнее время ты стал ужасно нервным.

– Наверное, слишком много курю.

– У тебя такой вид, словно и ты не знаешь, куда себя деть в этом доме. Куришь немного больше обычного каждое утро, выпиваешь немного больше обычного по вечерам и принимаешь на ночь снотворное чуть больше обычного. Ты тоже начинаешь чувствовать себя ненужным.

– Я?.. – Он помолчал, пытаясь заглянуть в собственную душу и понять, что там происходит.

– О Джорджи! – Она поглядела мимо него на дверь детской комнаты. – Эти львы... Они ведь не могут выйти оттуда?

Он тоже посмотрел на дверь – она вздрогнула, словно от удара изнутри.

– Разумеется, нет, – ответил он.

Они ужинали вдвоем. Венди и Питер отправились на специальный стереокарнавал в другом конце города и сообщили домой по видеофону, что вернутся поздно, не надо их ждать. Озабоченный Джордж Хедли смотрел, как стол-автомат исторгает из своих механических недр горячие блюда.

– Мы забыли кетчуп, – сказал он.

– Простите, – произнес тонкий голосок внутри стола, и появился кетчуп.

«Детская... – подумал Джордж Хедли. – Что ж, детям и впрямь не вредно некоторое время пожить без нее. Во всем нужна мера. А они, это совершенно ясно, слишком уж увлекаются Африкой». Это солнце... Он до сих пор чувствовал на шее его лучи – словно прикосновение горячей лапы. А эти львы. И запахи крови. Удивительно, как точно детская улавливает телепатическую эманацию психики детей и воплощает любое их пожелание. Стоит им подумать о львах – пожалуйста, вот они. Представят себе зебр – вот зебры. И солнце. И жирафы. И смерть.

Вот именно. Он механически жевал пищу, которую ему приготовил стол. Мысли о смерти. Венди и Питер слишком молоды для таких мыслей. А впрочем, разве дело в возрасте? Задолго до того, как ты понял, что такое смерть, ты уже желаешь смерти кому-нибудь. В два года ты стреляешь в людей из пугача...

Но это... Жаркий безбрежный африканский вельд... Ужасная смерть в когтях льва... Снова и снова смерть.

– Ты куда?

Он не ответил ей. Поглощенный своими мыслями, он шел, провожаемый волной света, к детской. Он приложил ухо к двери. Откуда-то донесся львиный рык.

Он отпер дверь и распахнул ее. В тот же миг его слух коснулся далекий крик. Снова рычание льва... Тишина.

Он вошел в Африку. Сколько раз за последний год он, открыв дверь, встречал Алису в стране чудес, или фальшивую черепаху, или Аладдина с его волшебной лампой, или Джека Тыквенную Голову из страны Оз, или доктора Дулитла, или корову, которая прыгала через луну, очень похожую на настоящую, – всех этих чудесных обитателей воображаемого мира. Сколько раз он видел летящего в небе Пегаса, или розовые фонтаны фейерверка, или слышал ангельское пение. А теперь перед ним желтая раскаленная Африка, огромная печь, Которая пышет убийством. Может быть, Лидия права. Может, и впрямь надо на время расстаться с фантазией, которая стала чересчур реальной для десятилетних детей. Разумеется, очень полезно упражнять воображение человека, но если пылкая детская фантазия чрезмерно увлекается каким-то одним мотивом?.. Кажется, весь последний месяц он слышал львиный рык, чувствовал даже у себя в кабинете резкий запах хищников, да по занятости не обращал внимания...

Джордж Хедли стоял один в степях Африки. Львы, оторвавшись от своей трапезы, смотрели на него. Полная иллюзия настоящих зверей – если бы не открытая дверь, через которую он видел в дальнем конце темного коридора, будто портрет в рамке, рассеянно ужидавшую, жену.

– Уходите, – сказал он львам. Они не послушались.

Он отлично знал устройство комнаты. Достаточно послать мысленный приказ, и он будет исполнен.

– Пусть появится Аладдин с его лампой, – рявкнул он. По-прежнему вельд, и все те же львы...

– Ну, комната, действуй! Мне нужен Аладдин. Никакого впечатления. Львы что-то грызли, трясая косматыми гривами.

– Аладдин!

Он вернулся в столовую.

– Проклятая комната, – сказал он, – поломалась. Не слушается.

– Или...

– Или что?

– Или *не может* послушаться, – ответила Лидия. – Потому что дети уже столько дней думают про Африку, львов и убийства, что комната застряла на одной комбинации.

– Возможно.

– Или же Питер заставил ее застрять.

– *Заставил?*

– Открыл механизм и что-нибудь подстроил.

– Питер не разбирается в механизме.

– Для десятилетнего парня он совсем не глуп. Коэффициент его интеллекта...

– И все-таки...

– Хелло, мам! Хелло, пап!

Супруги Хедли обернулись. Венди и Питер вошли в прихожую: щеки – мятный леденец, глаза – ярко-голубые шарики, от джемперов так и веет озоном, в котором они купались, летя на вертолете.

– Вы как раз успели к ужину, – сказали родители вместе.

– Мы наелись земляничного мороженого и сосисок, – ответили дети, отмахиваясь руками. – Но мы посидим с вами за столом.

– Вот-вот, подойдите-ка сюда, расскажу про детскую, – позвал их Джордж Хедли.

Брат и сестра удивленно посмотрели на него, потом друг на друга.

– Детскую?

– Про Африку и все прочее, – продолжал отец с наигранным добродушием.

– Не понимаю, – сказал Питер.

– Ваша мать и я только что совершили путешествие по Африке: Том Свифт и его Электрический Лев, – усмехнулся Джордж Хедли.

– Никакой Африки в детской нет, – невинным голосом возразил Питер.

– Брось, Питер, мы-то знаем.

– Я не помню никакой Африки. – Питер повернулся к Венди. – А ты?

– Нет.

– А ну сбегай проверь и скажи нам.

Она повиновалась брату.

– Венди, вернись! – позвал Джордж Хедли, но она уже ушла. Свет провожал ее, словно рой светлячков. Он слишком поздно сообразил, что забыл запереть детскую.

– Венди посмотрит и расскажет нам, – сказал Питер

– Что мне рассказывать, когда я сам видел.

– Я уверен, отец, ты ошибся.

– Я не ошибся, пойдем-ка.

Но Венди уже вернулась.

– Никакой Африки нет, – дoloжила она, запыхавшись.

– Сейчас проверим, – сказал Джордж Хедли.

Они все вместе пошли по коридору и отворили дверь в детскую.

Чудесный зеленый лес, чудесная река, пурпурная гора, ласкающее слух пение, а в листве – очаровательная таинственная Рима, на длинных

распущенных волосах которой, словно ожившие цветы, трепетали многоцветные бабочки. Ни африканского вельда, ни львов. Только Рима, поющая так восхитительно, что невольно на глазах выступают слезы.

Джордж Хедли внимательно осмотрел новую картину.

– Ступайте спать, – велел он детям.

Они открыли рты.

– Вы слышали?

Они отправились в пневматический отсек и взлетели словно сухие листья, вверх по шахте в свои спальни.

Джордж Хедли пересек звенящую птичьими голосами полянку и что-то подобрал в углу, поблизости от того места, где стояли львы. Потом медленно возвратился к жене.

– Что это у тебя в руке?

– Мой старый бумажник, – ответил он и протянул его ей.

От бумажника пахло жухлой травой и львами. На нем были капли слюны, и следы зубов, и с обеих сторон пятна крови.

Он затворил дверь детской и надежно ее запер.

В полночь Джордж все еще не спал, и он знал, что жена тоже не спит.

– Так ты думаешь, Венди ее переключила? – спросила она наконец в темноте.

– Конечно.

– Превратила вельд в лес и на место львов вызвала Риму?

– Да.

– Но зачем?

– Не знаю. Но пока я не выясню, комната будет заперта.

– Как туда попал твой бумажник?

– Не знаю, – ответил он, – ничего не знаю, только одно: я уже жалею, что мы купили детям эту комнату, И без того они нервные, а тут еще такая комната...

– Ее назначение в том и состоит, чтобы помочь им избавиться от своих неврозов.

– Ой, так ли это... – Он посмотрел на потолок.

– Мы давали детям все, что они просили. А в награду что получаем – непослушание, секреты от родителей...

– Кто это сказал: «Дети – ковер, иногда на них надо наступать»?.. Мы ни разу не поднимали на них руку. Скажем честно – они стали несносны. Уходят и приходят, когда им вздумается, с нами обращаются так, словно мы – их отпрыски. Мы их портим, они нас.

– Они переменились с тех самых пор – помнишь, месяца два-три назад? – когда ты запретил им лететь на ракете в Нью-Йорк.

– Я им объяснил, что они еще малы для такого путешествия.

– Объяснил, а я вижу, как они с того дня стали хуже к нам относиться.

– Я вот что сделаю: завтра приглашу Девида Маккллина и попрошу взглянуть на эту Африку.

Но ведь Африки нет, теперь там сказочная страна и Рима.

– Сдается мне, к тому времени снова будет Африка.

Мгновение позже он услышал крики.

Один... другой... Двое кричали вниз. Затем – рычание львов.

- Венди и Питер не спят, – сказала ему жена.
- Он слушал с колотящимся сердцем.
- Да, – отозвался он. – Они проникли в детскую комнату.
- Эти крики... они мне что-то напоминают.
- В самом деле?
- Да, мне страшно.

И как ни трудились кровати, они еще целый час не могли укачать супругов Хедли. В ночном воздухе пахло кошками.

- Отец, – сказал Питер.
- Да?

Питер разглядывал носки своих ботинок. Он давно избегал смотреть на отца, да и на мать тоже.

- Ты, что же, навсегда запер детскую?
- Это зависит...
- От чего? – резко спросил Питер.
- От тебя и твоей сестры. Если вы не будете чересчур увлекаться Африкой, станете ее чередовать... скажем, со Швецией, или Данией, или Китаем...
- Я думал, мы можем играть во что хотим.
- Безусловно, в пределах разумного.
- А чем плоха Африка, отец?
- Так ты все-таки признаешь, что вызывал Африку
- Я не хочу, чтобы запирали детскую, – холодно произнес Питер. – Никогда.

– Так позволь сообщить тебе, что мы вообще собираемся на месяц оставить этот дом. Попробуем жить по золотому принципу: «Каждый делает все сам».

- Ужасно! Значит, я должен сам шнуровать ботинки, без автоматического шнуровальщика? Сам чистить зубы, причесываться, мыться?
- Тебе не кажется, что это будет даже приятно для разнообразия?
- Это будет отвратительно. Мне было совсем не приятно, когда ты убрал автоматического художника.
- Мне хотелось, чтобы ты научился рисовать, сынок.
- Зачем? Достаточно смотреть, слушать и обонять! Других стоящих занятий нет.

- Хорошо, ступай, играй в Африке.
- Так вы решили скоро выключить наш дом?
- Мы об этом подумывали.
- Советую тебе подумать еще раз, отец.
- Но-но, сынок, без угроз!
- Отлично. – И Питер отправился в детскую.

- Я не опоздал? – спросил Девид Макклин.
- Завтрак? – предложил Джордж Хедли.
- Спасибо, я уже. Ну, так в чем дело?
- Девид, ты разбираешься в психике?
- Как будто.
- Так вот, проверь, пожалуйста, нашу детскую. Год назад ты в нее заходил – тогда ты заметил что-нибудь особенное?

– Вроде нет. Обычные проявления агрессии, тут и там налет паранойи, присущей детям, которые считают, что родители их постоянно преследуют. Но ничего, абсолютно ничего серьезного.

Они вышли в коридор.

– Я запер детскую, – объяснил отец семейства, – а ночью дети все равно проникли в нее. Я не стал вмешиваться, чтобы ты мог посмотреть на их затеи.

Из детской доносились ужасные крики.

– Вот-вот, – сказал Джордж Хедли. – Интересно, что ты скажешь?

Они вошли без стука.

Крики смолкли, лвы что-то пожирали.

– Ну-ка, дети, ступайте в сад, – распорядился Джордж Хедли. – Нет-нет, не меняйте ничего, оставьте стены, как есть. Марш!

Оставшись вдвоем, мужчины внимательно посмотрели на львов, которые сгрудились поодаль, жадно уничтожая свою добычу.

– Хотел бы я знать, что это, – сказал Джордж Хедли. – Иногда мне кажется, что я вижу... Как думаешь, если принести сильный бинокль...

Девид Макклин сухо усмехнулся.

– Вряд ли...

Они повернулись, разглядывая одну за другой все четыре стены.

– Давно это продолжается?

– Чуть больше месяца.

– Да, ощущение неприятное...

– Мне нужны факты, а не чувства.

– Дружище Джордж, найди мне психиатра, который наблюдал бы хоть один факт. Он слышит то, что ему сообщают об ощущениях, то есть нечто весьма неопределенное. Итак, я повторяю: это производит гнетущее впечатление. Положись на мой инстинкт и мое предчувствие. Я всегда чувствую, когда созревает беда. Тут кроется что-то очень скверное. Советую вам совсем выключить эту проклятую комнату и минимум год ежедневно при водить ко мне ваших детей на процедуры.

– Неужели до этого дошло?

– Боюсь, да. Первоначально эти детские были задуманы, в частности, для того, чтобы мы, врачи, без обследования могли по картинам на стенах изучать психологию ребенка и исправлять ее. Но в данном случае детская, вместо того чтобы избавлять от разрушительных наклонностей, поощряет их!

– Ты это и раньше чувствовал?

– Я чувствовал только, что вы больше других балуете своих детей. А теперь закрутили гайку. Что произошло?

– Я не пустил их в Нью-Йорк.

– Еще?

– Убрал из дома несколько автоматов, а месяц назад пригрозил запереть детскую, если они не будут делать уроки. И действительно запер на несколько дней, чтобы знали, что я не шучу.

– Ага!

– Тебе это что-нибудь говорит?

– Все. На место рождественского деда пришел бука. Дети предпочитают рождественского деда. Ребенок не может жить без привязанностей. Вы с женой позволили этой комнате, этому дому занять ваше место в их сердцах.

Детская комната стала для них матерью и отцом, оказалась в их жизни куда важнее подлинных родителей. Теперь вы хотите ее запретить. Неудивительно, что здесь появилась ненависть. Вот – даже небо излучает ее. И солнце. Джордж, вам надо переменить образ жизни. Как и для многих других – слишком многих, – для вас главным стал комфорт. Да если завтра на кухне что-нибудь поломается, вы же с голоду помрете. Не сумеете сами яйца разбить! И все-таки советую выключить все. Начните новую жизнь. На это понадобится время. Ничего, за год мы из дурных детей сделаем хороших, вот увидишь.

– А не будет ли это слишком резким шоком для ребят – вдруг запретить навсегда детскую?

– Я не хочу, чтобы зашло еще дальше, понимаешь.

Львы кончили свой кровавый пир.

Львы стояли на опушке, глядя на обоих мужчин.

– Теперь я чувствую себя преследуемым, – произнес Макклин. – Уйдем. Никогда не любил эти проклятые комнаты. Они мне действуют на нервы.

– А львы – совсем как настоящие, верно? – сказал Джордж Хедли. – Ты не допускаешь возможности...

– Что?!

– ...что они могут стать настоящими?

– По-моему, нет.

– Какой-нибудь порок в конструкции, переключение в схеме или еще что-нибудь?..

– Нет.

Они подошли к двери.

– Мне кажется, комнате не захочется, чтобы ее выключали, – сказал Джордж Хедли.

– Никому не хочется умирать, даже комнате.

– Интересно: она ненавидит меня за мое решение?

– Здесь все пропитано паранойей, – ответил Девид Макклин. – До осязаемости. Эй! – Он нагнулся и поднял окровавленный шарф. – Твой?

– Нет. – Лицо Джорджа окаменело. – Это Лидии. Они вместе пошли к распределительному щитку и повернули выключатель, убивающий детскую комнату.

Дети были в истерике. Они кричали, прыгали, швыряли вещи. Они вопили, рыдали, бранились, металась по комнатам.

– Вы не смеете так поступать с детской комнатой, не смеете!

– Угмонитесь, дети.

Они в слезах бросились на диван.

– Джордж, – сказала Лидия, – включи детскую на несколько минут. Нельзя так вдруг.

– Нет.

– Это слишком жестоко.

– Лидия, комната выключена и останется выключенной. И вообще, пора кончать с этим проклятым домом. Чем больше я смотрю на все это безобразие, тем мне противнее. И так мы чересчур долго созерцали свой механический электронный пуп. Видит бог, нам необходимо сменить обстановку!

И он стал ходить из комнаты в комнату, выключая говорящие часы, плиты, отопление, чистильщиков обуви, механические губки, мочалки, полотенца, массажистов и все прочие автоматы, которые попадались под руку.

Казалось, дом полон мертвецов. Будто они очутились на кладбище механизмов. Тишина. Смолкло жужжание скрытой энергии машин, готовых вступить в действие при первом же нажатии на кнопки.

– Не позволяй им это делать! – завопил Питер, подняв лицо к потолку, словно обращаясь к дому, к детской комнате. – Не позволяй отцу убивать все. – Он повернулся к отцу. – До чего же я тебя ненавижу!

– Оскорблениями ты ничего не достигнешь.

– Хоть бы ты умер!

– Мы долго были мертвыми. Теперь начнем жить по-настоящему. Мы привыкли быть предметом забот вся возможных автоматов – отныне мы будем жить.

Венди по-прежнему плакала. Питер опять присоединился к ней.

– Ну, еще немножечко, на минуточку, только на минуточку! – кричали они.

– Джордж, – сказала ему жена, – это им не повредит.

– Ладно, ладно, пусть только замолчат. На одну минуту, учтите, потом выключу совсем.

– Папочка, папочка, папочка! – запели дети, улыбаясь сквозь слезы.

– А потом – каникулы. Через полчаса вернется Девид Макклин, он поможет нам собраться и проводит на аэродром. Я пошел одеваться. Включи детскую на одну минуту, Лидия, слышишь, – не больше одной минуты.

Дети вместе с матерью, весело болтая, поспешили в детскую, а Джордж, взлетев вверх по воздушной шахте, стал одеваться. Через минуту появилась Лидия.

– Я буду рада, когда мы покинем этот дом, – вздохнула она.

– Ты оставила их в детской?

– Мне тоже надо одеться. О, эта ужасная Африка. И что они в ней видят?

– Ничего, через пять минут мы будем на пути в Айову. Господи, какая сила загнала нас в этот дом?.. Что нас побудило купить этот кошмар!

– Гордыня, деньги, глупость.

– Пожалуй, лучше спуститься, пока ребята опять не увлеклись своим чертовым зверинцем.

В этот самый миг они услышали голоса обоих детей.

– Папа, мама, скорей, сюда, скорей!

Они спустились по шахте вниз и ринулись бегом по коридору. Детей нигде не было видно.

– Венди! Питер!

Они ворвались в детскую. В пустынном вельде – никого, ни души, если не считать львов, глядящих на них.

– Питер! Венди!

Дверь захлопнулась.

Джордж и Лидия Хедли метнулись к выходу.

– Откройте дверь! – закричал Джордж Хедли, дергая ручку. – Зачем вы ее заперли? Питер! – он заколотил в дверь кулаками. – Открой!

За дверью послышался голос Питера:

– Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом.

Мистер и миссис Джордж Хедли стучали в дверь.

– Что за глупые шутки, дети! Нам пора ехать. Сейчас придет мистер Макклин и...

И тут они услышали...

Львы с трех сторон и желтой траве вельда, шуршание сухих стеблей под их лапами, рокот в их глотках.

Львы.

Мистер Хедли посмотрел на жену, потом они вместе повернулись лицом к хищникам, которые медленно, припадая к земле, подбирались к ним.

Мистер и миссис Хедли закричали.

И вдруг они поняли, почему крики, которые они слышали раньше, казались им такими знакомыми.

– Вот и я, – сказал Девид Макклин, стоя на пороге детской комнаты. – О, привет!

Он удивленно воззрился на двоих детей, которые сидели на поляне, уписывая ленч. Позади них был водоем и желтый вельд; над головами – жаркое солнце. У него выступил пот на лбу.

– А где отец и мать?

Дети обернулись к нему с улыбкой.

– Они сейчас придут.

– Хорошо, уже пора ехать.

Мистер Макклин приметил вдали львов – они из-за чего-то дрались между собой, потом успокоились и легли с добычей в тени деревьев.

Заслонив глаза от солнца ладонью, он присмотрелся внимательно.

Львы кончили есть и один за другим пошли на водопой.

Какая-то тень скользнула по разгоряченному лицу Мистера Макклина. Много теней. С ослепительного неба спускались стервятники.

– Чашечку чаю? – прозвучал в тишине голос Венди.

Перевод Л. Жданова

Марсианин

Устремленные вверх голубые пики терялись в завесе дождя, дождь поливал длинные каналы, и старик Лафарж вышел с женой из дома посмотреть.

– Первый дождь сезона, – заметил Лафарж.

– Чудесно... – вздохнула жена.

– Благодарить!

Они затворили дверь. Вернувшись в комнаты, стали греть руки над углями в камине. Они зябко дрожали. Сквозь окно они видели вдали влажный блеск дождя на корпусе ракеты, которая доставила их сюда с Земли.

– Вот одно только... – произнес Лафарж, глядя на свои руки.

– Ты о чем? – спросила жена.

– Если бы мы могли взять с собой Тома...

– Лаф, ты опять!

– Нет, нет, прости меня, я не буду.

– Мы прилетели сюда, чтобы тихо, без тревог прожить свою старость, а не думать о Томе. Сколько лет прошло, как он умер, надо постараться забыть его и все, что было на Земле.

– Верно, верно, – сказал он и снова потянулся к теплу. Его глаза смотрели на огонь. – Я больше не заговорю об этом. Просто, ну... очень уж недостает мне наших поездок в Грин-Лон-Парк по воскресеньям, когда мы клали цветы на его могилу. Ведь мы больше никуда не выезжали...

Голубой дождь ласковыми струями поливал дом.

В девять часов они легли спать; молча, рука в руке, лежали они, ему – пятьдесят пять, ей – шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя.

– Энн, – тихо позвал он.

– Да? – откликнулась она.

– Ты ничего не слышала?

Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя.

– Ничего, – сказала она.

– Кто-то свистел, – объяснил он.

– Нет, я не слышала.

– Пойду посмотрю на всякий случай.

Он надел халат и прошел через весь дом к наружной двери. Помедлив в нерешительности, толчком отворил ее, и холодные капли дождя ударили по его лицу. Дул ветер.

У крыльца стояла маленькая фигура.

Молния распорол небо, и мазок белого света выхватил из мрака лицо. Оно глядело на стоящего в дверях Лафаржа.

– Кто там? – крикнул старик, дрожа.

Молчание.

– Кто это? Что вам надо?

По-прежнему ни слова.

Он почувствовал страшную усталость, слабость, изнеможение.

– Кто ты такой? – крикнул Лафарж снова.

Жена подошла к нему сзади и взяла его за руку,

– Чего ты так кричишь?

– Какой-то мальчик стоит у крыльца и не хочет мне отвечать, – сказал старик, дрожа. – Он похож на Тома!

– Пойдем спать, тебе почудилось.

– Он и сейчас стоит, взгляни сама.

Лафарж отворил дверь шире, чтобы жене было видно. Холодный ветер, редкий дождь – и фигурка, глядящая на них задумчивыми глазами. Старая женщина прислонилась к притолоке.

– Уходи! – сказала она, отмахиваясь рукой. – Уходи!

– Скажешь, не похож на Тома? – спросил старик.

Фигурка не двигалась.

– Мне страшно, – произнесла женщина. – Запри дверь и пойдем спать. Не хочу, не хочу!..

И она ушла в спальню, причитая себе под нос. Старик стоял на ветру, и руки его стыли от студенной влаги.

– Том, – тихо сказал он. – Том, на тот случай, если Это ты, если это каким-то чудом ты, – я не стану запира́ть дверь. Если ты озяб и захочешь войти погреться, входи и ложись подле камина, там есть меховой коврик.

И он прикрыл дверь, не заперев ее.

Жена услышала, как он ложится, и зябко поежилась.

– Ужасная ночь. Я чувствую себя такой старой. – Она всхлипнула.

– Ладно, ладно, – ласково успокаивал он ее, обнимая. – Спи.

Наконец она уснула.

И тут его настороженный слух тотчас уловил: наружная дверь медленно-медленно отворилась, впуская дождь и ветер, потом затворилась. Лафарж услышал легкие шаги возле камина и слабое дыхание. «Том», – сказал он сам себе.

Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части.

Утром светило жаркое-жаркое солнце.

Лафарж распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом.

На коврике никого не было.

Лафарж вздохнул.

– Стар становлюсь, – сказал он.

И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром.

– Доброе утро, отец!

– Доброе утро, Том.

Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся улыбаясь.

– Чудесный день сегодня!

– Да, хороший, – настороженно отозвался старик.

Мальчик держался как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой.

Старик шагнул вперед.

– Том, как ты сюда попал? Ты жив?

– А почему мне не быть живым? – Мальчик поднял глаза на отца.

– Но Том... Грин-Лон-Парк: каждое воскресенье... цветы... и... – Лафарж вынужден был сест. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые.

– Ты в самом деле здесь, это не сон?

– Разве вы не хотите, чтобы я был здесь? – Мальчик встревожился.

– Что ты, Том, конечно, хотим!

– Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут.

– Но твоя мать, такая неожиданность...

– Не беспокойся, все будет хорошо. Ночью я пел вам обоим, это поможет вам принять меня, особенно ей. Я знаю, как действует неожиданность. Погоди, она войдет, и убедишься сам.

И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза.

– Доброе утро, Лаф и Том. – Мать вышла из дверей спальни, собирая волосы в пучок. – Правда, чудесный день?

Том повернулся к отцу улыбаясь:

– Что я говорил?

Вместе, вдвоем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарж достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнухового вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарж не видел жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарж проникался этим чувством.

Пока мать мыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил:

– Сколько же тебе лет теперь, сынок?

– Разве ты не знаешь, папа? Четырнадцать, конечно.

– А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть! Кто ты?

– Не надо. – Парнишка испуганно прикрыл лицо руками.

– Мне ты можешь сказать, – настаивал старик, – я пойму. Ты марсианин, наверно? Я тут слыхал разные басни про марсиан, правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и Том, и не Том...

– Зачем, зачем это?! Чем я вам нехорош? – закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. – Пожалуйста, ну пожалуйста, не надо сомневаться во мне!

Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола.

– Том, вернись!

Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу.

– Куда это он? – спросила Энн; она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу.

– Ты что-нибудь сказал, напугал его?

– Энн, – заговорил он, беря ее за руку. – Энн, ты помнишь Грин-Лон-Парк, помнишь ярмарку, и как Том заболел воспалением легких?

– Что ты такое говоришь? – Она рассмеялась.

– Так, ничего, – тихо ответил он.

Вдали, у канала, медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома.

В пять часов вечера, на закате, Том возвратился. Он настороженно поглядел на отца.

– Ты опять начнешь меня расспрашивать? – Никаких вопросов, – сказал Лафарж.

Блеснула белозубая улыбка.

– Вот это здорово.

– Где ты был?

– Возле города. Чуть не остался там. Меня чуть... – Он замялся, подбирая нужное слово. – Я чуть не попал в западню.

– Что ты хочешь этим сказать – «в западню»?

– Там, возле канала, есть маленький железный дом, и когда я шел мимо него, то меня чуть было не заставили... после этого я не смог бы вернуться сюда, к вам! Не знаю, как вам объяснить, нет таких слов, я не умею рассказать, я и сам не понимаю, это так странно, мне не хочется об этом говорить.

– И не надо. Иди-ка лучше умойся. Ужинать пора, Мальчик побегал мываться.

А минут через десять на безмятежной глади канала показалась лодка, подгоняемая плавными толчками длинного шеста, который держал в руках долговязый худой человек с черными волосами.

– Добрый вечер, брат Лафарж, – сказал он, придерживая лодку.

– Добрый вечер, Саул, что слышно?

– Всякое. Ты ведь знаешь Номленда – того, что живет в жестяном сарайчике на канале?

Лафарж оцепенел.

– Знаю, ну и что?

– А какой он негодяй был, тоже знаешь?

– Говорили, будто он потому Землю покинул, что человека убил.

Саул оперся о влажный шест, внимательно глядя на Лафаржа.

– А помнишь фамилию человека, которого он убил?

– Гиллингс, кажется?

– Точно, Гиллингс. Ну так вот, часа этак два тому назад этот Номленд прибежал в город с криком, что видел Гиллингса – живьем, здесь, на Марсе, сегодня, только что! Просился в тюрьму, чтобы его спрятали туда от Гиллингса. Но в тюрьму его не пустили. Тогда Номленд пошел домой и двадцать минут назад – люди мне рассказали – пустил себе пулю в лоб. Я как раз оттуда.

– Ну и ну, – сказал Лафарж.

– Вот какие дела-то бывают! – подхватил Саул. – Ладно, Лафарж, пока, спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Лодка заскользила дальше по тихой глади канала.

– Ужин на столе! – крикнула миссис Лафарж.

Мистер Лафарж сел на свое место и, взяв нож, поглядел через стол на Тома.

– Том, – сказал он, – ты что делал сегодня вечером?

– Ничего, – ответил Том с полным ртом. – А что?

– Да нет, я так просто. – Старик засунул уголок салфетки за ворот сорочки.

В семь часов вечера миссис Лафарж собралась в город.

– Уж который месяц не была там, – сказала она.

Том отказался идти.

– Я боюсь города, – объявил он. – Боюсь людей. Мне не хочется.

– Большой парень – и такие разговоры! – настаивала Энн. – Слушать не хочу. Пойдешь с нами. Я так решила.

– Но, Энн, если мальчику не хочется... – вступился старик.

Однако миссис Лафарж была неумолима. Она чуть не силой втащила их в лодку, и все вместе отправились в путь по каналу под вечерними звездами. Том лежал на спине, закрыв глаза, и никто не сказал бы, спит он или нет. Старик пристально глядел на него, размышляя. «Кто же это, – думал он, – что за создание, жаждущее любви не меньше нас? Кто он и что он – пришел, спасаясь от одиночества, в круг чуждых ему существ, принял голос и облик людей, которые жили только в нашей памяти, чтобы остаться среди нас и обрести наконец свое счастье в нашем признании? С какой он горы, из какой пещеры, отпрыск какого народа, еще населявшего этот мир, когда прилетели ракеты с Земли?» Лафарж покачал головой. Этого не узнать. А так, с какой стороны ни посмотри – он Том, и все тут.

Старик перевел взгляд на приближающийся город и почувствовал неприязнь к нему. Но затем он опять стал думать о Томе и Энн и сказал себе: «Может быть, и неправильно это – оставить у себя Тома, хоть ненадолго, если все равно не выйдет ничего, кроме беды и горя... Но как отказаться от того, о чем мы так мечтали, пусть это всего на один день, и он потом исчезнет, и пустота станет еще невыносимей, темные ночи – еще темней, дождливые ночи – еще сырей... Лишать нас этого – все равно что попытаться вырвать у нас кусок из рта...»

И он поглядел на парнишку, который так безмятежно дремал на дне лодки. Тот всхлипнул; верно, что-то приснилось.

– Люди, – бормотал Том во сне. – Меняюсь и меняюсь... Капкан...

– Полно, полно, парень. – Лафарж погладил его мягкие кудри, и Том успокоился.

Лафарж помог жене и сыну выйти из лодки на берег.

– Ну, вот и приехали! – Энн улыбнулась ярким огням, слушая музыку из таверн, звуки пианино и патефонов, любуясь парочками, которые гуляли под руку по оживленным улицам.

– Лучше бы я остался дома, – сказал Том.

– Прежде ты так не говорил, – возразила мать. – Тебе всегда нравилось в субботу вечером поехать в город.

– Держись ко мне поближе, – прошептал Том. – Я не хочу, чтоб меня поймали.

Энн услышала эти слова.

– Что ты там болтаешь, пошли!

Лафарж заметил, что пальцы мальчика льнут к его ладони, и крепко стиснул их.

– Я с тобой, Томми. – Он поглядел на спящую мимо толпу, и ему тоже стало не по себе. – Мы не будем задерживаться долго.

– Вздор, – вмешалась Энн. – Мы на весь вечер приехали.

Переходя улицу, они наткнулись на тройку пьяных. Их затолкали, закрутили, оторвали друг от друга; оглядевшись, Лафарж окаменел.

Тома не было.

– Где он? – сердито спросила Энн. – Что за манера – чуть что, куда-то удирать от родителей! Том!!

Мистер Лафарж бегал кругом, расталкивая прохожих, но Тома нигде не было.

– Вернется, вот увидишь, будет ждать возле лодки, когда мы поедем домой, – уверенно произнесла Энн, увлекая мужа по направлению к кинотеатру.

Вдруг в толпе произошло какое-то замешательство, и мимо Лафаржа пробежали двое – мужчина и женщина. Он узнал их: Джо Сполдинг с женой. Они исчезли прежде, чем Лафарж успел заговорить с ними.

Встревоженно озираясь, он купил билеты и безропотно потащился за женой в постылую темноту кинозала.

В одиннадцать часов Тома у причала не было.

– Ничего, мать, – сказал Лафарж, – ты только не волнуйся. Я найду его. Подожди здесь.

– Поскорее возвращайтесь.

Ее голос утонул в плеске воды.

Он шел по ночным улицам, сунув руки в карманы. Один за другим гасли огни. Кое-где из окон еще высовывались люди – ночь была теплая, хотя в небе все еще плыли среди звезд обрывки грозowych туч. Лафарж вспомнил, как мальчик постоянно твердил что-то насчет западни, как он боялся толпы, городов. «Что за нелепость, – устало подумал старик. – Наверное, парень ушел навсегда. А может, его и вовсе не было...» Лафарж свернул в переулок, скользя взглядом по номерам домов.

– Это ты, Лафарж?

На крыльце, куря трубку, сидел мужчина.

– Привет, Майк.

– Что, повздорил с хозяйкой? Вышел проветриться, нервы успокоить?

– Да нет, просто гуляю.

– У тебя такой вид, словно ты что-то ищешь. Да, к слову о находках. Ведь сегодня вечером кое-кто нашелся. Джо Сполдинга знаешь? Помнишь его дочь, Лавинию?

– Помню. – Лафарж похолодел. Это было как сон, который снится во второй раз. Он в точности знал, что будет сказано дальше.

– Лавиния вернулась домой сегодня вечером, – сказал Майк, выпуская дым. – Помнишь, она с месяц назад заблудилась на дне мертвого моря? Потом нашли тело, вроде бы ее, да очень уж изуродовано было... С тех пор

Сполдинги были словно не в себе. Джо ходил и все твердил, что она жива, не ее это тело. И вот выходит, он был прав. Сегодня Лавиния объявилась.

– Где? – Лафаржу стало трудно дышать, сердце отчаянно заколотилось.

На главной улице. Сполдинги как раз покупали билеты в кино. Вдруг видят в толпе Лавинию. Вот сцена была, воображаю! Сперва-то она их не узнала. Они квартала три шли за ней, все говорили, говорили. Наконец она вспомнила.

– И ты ее видел?

– Нет, но я слышал ее голос. Помнишь, она любила петь «Чудный берег Ломондского озера»? Ну так вот, я только что слышал, как она эту песню отцу пела, вон их дом. Так она пела – заслушаешься! Славная девочка. Я как узнал, что она погибла, – вот ведь беда, подумал, вот несчастье. А теперь вернулась, и так на душе хорошо. Э, да тебе вроде нездоровится. Зайди-ка, глотни виски!

– Спасибо, Майк, не хочу. – Старик побрел прочь.

Он слышал, как Майк пожелал ему доброй ночи, но не ответил, а устремил взгляд на двухэтажный дом, высокую хрустальную крышу которого устилали пышные кисти алых марсианских цветов. Над садом навис балкон с витой железной решеткой, в окнах второго этажа горел свет. Было очень поздно, но он все-таки подумал: «Что будет с Энн, если я не приведу Тома? Новый удар – снова смерть, – как она это переживет? Вспомнит первую смерть?.. И весь этот сон наяву? И это внезапное исчезновение? Господи, я должен найти Тома ради Энн! Бедняжка Энн, она ждет его на пристани...»

Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам, хлопали двери, гас свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прехорошенькая девушка лет восемнадцати.

Лафарж окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер.

Девушка обернулась, глянула вниз.

– Кто там? – крикнула она.

– Это я, – сказал старик и, сообразив, как странно, нелепо ответил ей, осекся, только губы продолжали беззвучно шевелиться.

Крикнуть: «Том, сынок, это твой отец»? Как заговорить с ней? Она ведь примет его за сумасшедшего и позовет родителей.

Девушка перегнулась через перила в холодном, неверном свете.

– Я вас знаю, – мягко ответила она. – Пожалуйста, уходите, вы тут ничего не можете поделать.

– Ты должен вернуться! – Слова сами вырвались у Лафаржа, прежде чем он смог их удержать.

Освещенная луной фигурка наверху отступила в тень и пропала, только голос остался.

– Теперь я больше не твой сын, – сказал голос – Зачем только мы поехали в город...

– Энн ждет на пристани!

– Простите меня, – ответил тихий голос. – Но что я могу поделать? Я счастлива здесь, меня любят – как любили вы. Я то, что я есть, беру то, что дается. Поздно: они взяли меня в плен.

– Но подумай об Энн, какой это будет удар для нее...

– Мысли в этом доме чересчур сильны, я словно в заточении. Я не могу перемениться сама.

– Но ведь ты же Том, это ты был Томом, верно? Или ты издеваешься над стариком – может быть, на самом деле ты Лавиния Сполдинг?

– Я ни то, ни другое, я только я. Но везде, куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас вы не в силах изменить этого нечто.

– Тебе опасно оставаться в городе. У нас на канале лучше, там никто тебя не обидит, – умолял старик.

– Верно... – Голос звучал нерешительно. – Но теперь я обязана считаться с этими людьми. Что будет с ними, если утром окажется, что я снова исчезла – уже навсегда? Правда, мама-то знает, кто я, – догадалась, как и вы. Мне кажется, они все догадались, только не хотят спрашивать. Провидению не задают вопросов. Если действительность недоступна, чем плоха тогда мечта? Пусть я не та, которую они потеряли, для них я даже нечто лучшее – идеал, созданный их мечтой. Передо мной теперь стоит выбор: либо причинить боль им, либо вашей жене.

– У них большая семья, их пятеро. Им легче перенести утрату!

– Прошу вас, – голос дрогнул, – я устала.

Голос старика стал тверже.

– Ты должен пойти со мной. Я не могу снова подвергать Энн такому испытанию. Ты наш сын. Ты мой сын, ты принадлежишь нам.

– Не надо, пожалуйста! – Тень на балконе трепетала.

– Тебя ничто не связывает с этим домом и его обитателями!

– О, что вы делаете со мной!

– Том, Том, сынок, послушай меня. Вернись к нам скорей, ну спустись по этим лианам. Пошли, Энн ждет, У тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь.

Лафарж не отрывал пристального взгляда от балкона. желая, желая, чтобы свершилось...

Тени колыхались, шелестели лианы.

Наконец тихий голос произнес:

– Хорошо, отец.

– Том.

В свете луны вниз по лианам скользнула юркая мальчишеская фигурка. Лафарж поднял руки – принять ее.

В окнах вверху вспыхнуло электричество.

Чей-то голос вырвался из-за узорной решетки:

– Кто там?

– Живей, парень!

Еще свет, еще голоса:

– Стой, я буду стрелять! Винни, ты цела?

Топот спешащих ног...

Старик и мальчик пустились бежать через сад.

Раздался выстрел. Пуля ударила в стену возле самой калитки.

– Том, ты – в ту сторону! Я побегу сюда, запутаю их. Беги к каналу, через десять минут встретимся там! Давай!

Они побежали в разные стороны. Луна скрылась за тучей. Старик бежал в полной темноте.

– Энн, я здесь!

Она, дрожа, помогла ему спуститься в лодку.

– Где Том?

– Сейчас прибежит.

Они смотрели на тесные улочки и спящий город. Еще появлялись запоздалые прохожие: полицейский, ночной сторож, пилот ракеты, одинокие мужчины, идущие домой после ночного свидания, четверо мужчин и женщин, которые, смеясь, вышли из бара... Где-то приглушенно звучала музыка.

– Почему его нет? – спросила мать.

– Сейчас, сейчас.

Но Лафарж уже не был уверен. Что, если парнишку опять перехватили – где-то, каким-то образом, – пока он спешил к пристани, бежал полуночными улицами между темных домов? Конечно, бежать было далеко – даже для мальчика, но все-таки Том должен был поспеть раньше его...

Вдруг вдали, на залитой лунным светом улице, показалась бегущая фигурка.

Лафарж вскрикнул, но тотчас заставил себя замолчать: оттуда же, издали, доносились другие голоса, топот других ног. В окнах, словно по цепочке, вспыхнули огни. Одинокая фигурка вырвалась на широкую площадь перед причалом. Это был не Том, а просто бегущее существо с серебристым лицом, которое блестело, переливалось, освещенное многочисленными шарами фонарей. Но чем ближе подбегало оно, тем все более знакомым становилось, и когда фигурка достигла причала, это был уже Том! Энн всплеснула руками, Лафарж поспешно отчалил. Но было уже поздно.

Потому что из улицы на безмолвную площадь выбежал мужчина... еще один... женщина, еще двое мужчин, мистер Сполдинг. Они остановились в замешательстве. Они озирались по сторонам, и им хотелось вернуться домой: ведь это... это был явный кошмар, безумие какое-то, ну конечно! И однако же они продолжали погоню, поминутно останавливаясь в нерешительности и вновь припускаясь бежать.

Да, было уже поздно. Пришел конец этому необычайному вечеру, необычайному событию. Лафарж крутил в руках палку. Ему было очень холодно и одиноко. В лунном свете было видно, как бежали, спешили люди, выпучив глаза, торопливо скидывая ноги, и вот уже все они, вся десятка, стоят у причала. Они яростно уставились на лодку. Они кричали.

– Ни с места, Лафарж! – Сполдинг держал в руке пистолет.

Теперь было ясно, что произошло... Том один, обгоняя прохожих, мчится по освещенным луной улицам. Полицейский замечает промелькнувшую фигуру. Круто обернувшись, всматривается в лицо, кричит какое-то имя, бросается вдогонку. «Эй, стой!» Он увидел известного преступника. И так всю дорогу, кто бы ни встретился: мужчина ли, женщина, ночной сторож или пилот ракеты, – для каждого бегущая фигура была кем угодно. В ней воплощались для них любой знакомый, любой образ, любое имя... Сколько разных имен было произнесено за последние пять минут!.. Сколько лиц угадано в лице Тома – и все ложно!

Вдоль всего пути – преследуемый и преследователи, мечта и мечтатели, дичь и псы. Вдоль всего пути: неожиданное открытие, блеск знакомых глаз, выкрик полузабытого имени, воспоминания о давних временах – и растет,

растет толпа, бегущая по его следам. Каждый срывался с места и спешил вдогонку, едва проносилось мимо – словно лик, отраженный десятком тысяч зеркал. Десятком тысяч глаз, – бегущее видение, лицо, одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, новое, для тех, кто еще попадетсЯ ему на пути, кто еще не видел.

И вот они все здесь, у лодки, и каждый хочет один завладеть мечтой, – как мы хотим, чтобы это был только Том, не Лавиния, не Роджер, не кто-либо еще, подумал Лафарж. Но теперь этому не бывать. Слишком далеко все зашло.

– Выходите из лодки, ну! – скомандовал Сполдинг.

Том поднялся на пристань. Сполдинг схватил его за руку.

– Ты пойдешь к нам домой. Я все знаю.

– Стой, – вмешался полицейский, – он арестован! Его фамилия Декстер, разыскивается за убийство.

– Нет, нет! – всхлипнула женщина. – Это мой муж! Что уж, я своего мужа не знаю?!

Другие голоса твердили свое. Толпа напирала. Миссис Лафарж заслонила собой Тома.

– Это мой сын, у вас нет никакого права обвинять его в чем-либо! Нам надо ехать домой!

А Тома безостановочно била дрожь. Он выглядел тяжелобольным. Толпа все напирала, протягивая нетерпеливые руки, ловя его, хватая.

Том закричал.

Он менялся на глазах у всех. Это был Том, и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фамилии Баттерфилд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный их воображению. Они орали, наступали, зывали к нему. Он тоже кричал, простирая к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо преображаться.

– Том! – звал Лафарж.

– Алиса! – звучал новый зов.

– Уильям!

Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не упал, испустив последний крик ужаса.

Он лежал на камнях – застывал расплавленный воск, и его лицо было как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука большая, другая маленькая.

Они стояли над ним, прижав палец к губам. Они наклонились.

– Он умер, – сказал кто-то наконец.

Пошел дождь.

Капли падали на людей, и люди посмотрели на небо.

Они отвернулись и сперва медленно, потом все быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в разные стороны. Только мистер и миссис Лафарж, объятые ужасом, стояли на месте, держась за руки, и глядели на него.

Дождь поливал обращенное вверх лицо, в котором не осталось ни одной знакомой черты.

Энн молча начала плакать.

– Поехали домой, Энн, тут уж ничего не поделаешь, – сказал старик.

Они спустились в лодку и заскользили во мраке по каналу. Они вошли в свой дом, и развели огонь в камине, и согрели над ним руки. Они пошли спать и лежали вместе, продрогшие, изможденные, слушая, как снова стучит по крыше дождь.

– Тс-с, – вдруг произнес Лафарж посреди ночи. – Ты ничего не слышала?

– Нет, ничего...

– Я все-таки погляжу.

Он пересек на ощупь темную комнату и долго стоял возле наружной двери, прежде чем отворить.

Наконец распахнул ее настежь и выглянул наружу.

Дождь с черного неба поливал пустой двор, поливал канал, поливал склоны синих гор.

Он подождал минут пять, потом мокрыми руками медленно затворил дверь и задвинул засов.

Перевод Л. Жданова

Третья экспедиция

Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающее движение и немые космические бездны. Корабль был новый; в нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди; в строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. Семнадцать человек было в его отсеках включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос – началась Третья экспедиция на Марс!

Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил, подобно призрачному морскому чудовищу; он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одну за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило, все они по очереди переболели. Один из них умер, зато теперь оставшиеся шестнадцать, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс.

– Марс! – воскликнул штурман Люстиг.

– Старина Марс! – сказал Сэмюэль Хинкстон, археолог.

– Добро, – произнес капитан Джон Блэк.

Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле, с множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед, взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо».

Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижимый в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие клены, и могучие вязы, и каштаны. Стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами.

Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга. И снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за Локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели.

– Черт меня побери, – прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. – Чтоб мне провалиться!

– Этого просто не может быть, – сказал Сэмюэль Хинкстон.

– Господи, – произнес командир Джон Блэк.

Химик доложил из своей рубки:

– Капитан, атмосфера разреженная. Но кислорода достаточно. Опасности никакой.

– Значит, выходим? – спросил Люстиг.

– Отставить, – сказал капитан Джон Блэк. – Надо еще разобраться, что это такое.

– Это? Маленький городок, капитан, воздух хоть и разреженный, но дышать можно.

– Маленький городок, похожий на земные города, – добавил археолог Хинкстон. – Невообразимо. Этого просто не может быть, и все же вот он, перед нами...

Капитан Джон Блэк рассеянно глянул на него.

– Как по-вашему, Хинкстон, может цивилизация на двух различных планетах развиваться одинаковыми темпами и в одном направлении?

– По-моему, это маловероятно, капитан. Капитан Блэк стоял возле иллюминатора.

– Посмотрите вон на те герани. Совершенно новый вид. Он выведен на Земле всего пятьдесят лет тому назад. А теперь вспомните, сколько тысячелетий требуется для эволюции того или иного растения. И заодно скажите мне, логично ли это, чтобы у марсиан были: во-первых, именно такие оконные рамы, во-вторых, башенки, в-третьих, качели на террасе, в-четвертых, инструмент, который похож на пианино и скорее всего и есть не что иное, как пианино, в-пятых, – поглядите-ка внимательно в телескоп, вот так, – логично ли, чтобы марсианский композитор назвал свое произведение не как-нибудь иначе, а именно «Прекрасный Огайо»? Ведь это может означать только одно: на Марсе есть река Огайо.

– Капитан Уильямс, ну конечно же! – вскричал Хинкстон.

– Что?

– Капитан Уильямс и его тройка! Или Натаниел Йорк со своим напарником. Это все объясняет!

– Это не объясняет ничего. Насколько нам удалось установить, ракета Йорка взорвалась, едва они сели на Марсе, и оба космонавта погибли. Что до Уильямса и его тройки, то их корабль взорвался на второй день после прибытия. Во всяком случае, именно в это время прекратили работу передатчики. Будь они живы, они попытались бы связаться с нами. Не говоря уже о том, что со времени экспедиции Йорка прошел всего один год, а экипаж капитана Уильямса прилетел сюда в августе. Допустим даже, что они живы, – возможно ли хотя бы с помощью самых искусных марсиан, за такое короткое время выстроить целый город, и чтобы он вы глядел таким старым? Вы посмотрите как следует, ведь этому городу самое малое семьдесят лет. Взгляните на перильные тумбы крыльца, взгляните на деревья – вековые клены! Нет, ни Йорк, ни Уильямс тут ни при чем. Тут что-то другое. Не по душе мне это. И, пока я не узнаю, в чем дело, не выйду из корабля.

– Да к тому же, – добавил Люстиг, – Уильямс и его люди, и Йорк тоже сажались на той стороне Марса. Мы ведь сознательно выбрали эту сторону.

– Вот именно. На тот случай, если Йорка и Уильямса убило враждебное марсианское племя, нам было приказано сесть в другом полушарии. Чтобы

катастрофа не повторилась. Так что мы находимся в краю, которого насколько нам известно, ни Уильямс, ни Йорк и в глаза не видали.

– Черт возьми, – сказал Хинкстон, – я все-таки пойду в этот город с вашего разрешения, капитан. Ведь может оказаться, что на планетах нашей Солнечной системы мышление и цивилизация развивались сходным путем. Кто знает, возможно, мы стоим на пороге величайшего психологического и философского открытия нашей эпохи!

– Я предпочел бы обожать немного, – сказал капитан Джон Блэк.

– Командир, может быть, перед нами явление, которое впервые докажет существование бога!

– Верующих достаточно и без таких доказательств, мистер Хинкстон...

– Да, и я отношусь к ним, капитан. Но совершенно ясно – такой город просто не мог появиться без вмешательства божественного провидения. Все эти мелочи, детали... Во мне сейчас такая борьба чувств, не знаю, смеяться мне или плакать.

– Тогда воздержитесь и от того, и от другого, пока мы не выясним, с чем столкнулись.

– С чем столкнулись? – вмешался Люстиг. – Да ни с чем. Обыкновенный славный, тихий, зеленый городок, и очень похож на тот стародавний уголок, в котором я родился. Мне он просто нравится.

– Когда вы родились, Люстиг?

– В тысяча девятьсот пятидесятом, сэр.

– А вы, Хинкстон?

– В тысяча девятьсот пятьдесят пятом, капитан. Гриннелл, штат Айова. Вот гляжу сейчас, и кажется, будто я на родину вернулся.

– Хинкстон, Люстиг, я мог бы быть вашим отцом, мне ровно восемьдесят. Родился я в тысяча девятьсот двадцатом, в Иллинойсе, но благодаря божьей милости и науке, которая за последние пятьдесят лет научилась делать некоторых стариков молодыми, я прилетел с вами на Марс. Устал я не больше вас, а вот недоверчивости у меня во много раз больше. У этого городка такой мирный, такой приветливый вид – и он так похож на мой Грин-Блафф в Иллинойсе, что мне даже страшно. Он слишком похож на Грин-Блафф. – Командир повернулся к радисту. – Свяжитесь с Землей. Передайте, что мы сели. Больше ничего. Скажите, что полный доклад будет передан завтра.

– Есть, капитан.

Капитан Блэк выглянул в иллюминатор; глядя на его лицо, никто не дал бы ему восьмидесяти лет – от силы сорок.

– Теперь слушайте, Люстиг. Вы, я и Хинкстон пойдем и осмотрим город. Остальным ждать в ракете. Если что случится, они успеют унести ноги. Лучше потерять троих, чем погубить весь корабль. В случае несчастья наш экипаж сумеет оповестить следующую ракету. Ее поведет капитан Уайлдер в конце декабря, если не ошибаюсь. Если на Марсе есть какие-то враждебные силы, новая экспедиция должна быть хорошо вооружена.

– Но ведь и мы вооружены. Целый арсенал с собой.

– Ладно, передайте людям, – привести оружие в готовность. Пошли, Люстиг, пошли, Хинкстон.

И три космонавта спустились через отсеки корабля вниз.

Был чудесный весенний день. На цветущей яблоне щебетала неутомимая малиновка. Облака белых лепестков сыпались вниз, когда ветер касался зеленых ветвей, далеко вокруг разносилось нежное благоухание. Где-то в городе кто-то играл на пианино, и музыка плыла в воздухе – громче, тише, громче, тише, нежная, баюкающая. Играли «Прекрасного мечтателя». А в другой стороне граммофон сыпало, невнятно гнусавил «Странствие в сумерках» в исполнении Гарри Лодера.

Трое космонавтов стояли подле ракеты. Они жадно хватали ртом сильно разреженный воздух, потом медленно пошли, сберегая силы.

Теперь звучала другая пластинка.

Мне бы июньскую ночь,
Лунную ночь – и тебя...

У Люстига задрожали колени, у Сэмюэля Хинкстона тоже.

Небо было прозрачное и спокойное, где-то на дне оврага, под прохладным навесом листвы, журчал ручей. Цокали конские копыта, громыхала, подпрыгивая, телега,

– Капитан, – сказал Сэмюэль Хинкстон, – как хотите, но похоже – нет, иначе просто быть не может, – полеты на Марс начались еще до первой мировой войны!

– Нет.

– Но как еще объясните вы эти дома, этого чугунного оленя, пианино, музыку? – Хинкстон настойчиво стиснул локоть капитана, посмотрел ему в лицо. – Представьте себе, что были, ну, скажем, в тысяча девятьсот пятом году, люди, которые ненавидели войну, и они тайно сговорились с учеными, построили ракету и перебрались сюда, на Марс...

– Невозможно, Хинкстон.

– Почему? В тысяча девятьсот пятом году мир был совсем иной, тогда было гораздо легче сохранить это в секрете.

– Только не такую сложную штуку, как ракета! Нет, нет...

– Они прилетели сюда насовсем и, естественно, построили такие же дома, как на Земле, ведь они привезли с собой земную культуру,

– И все эти годы жили здесь? – спросил командир.

– Вот именно, тихо и мирно жили. Возможно, они еще не раз слетали на Землю, привезли сюда людей, сколько нужно, скажем, чтобы заселить вот такой городок, а потом прекратили полеты, чтобы их не обнаружили. Поэтому и город такой старомодный. Лично мне пока не попался на глаза ни один предмет, сделанный позже тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А вам, капитан? Впрочем, может, космические путешествия вообще начались гораздо раньше, чем мы полагаем? Еще сотни лет назад, в каком-нибудь отдаленном уголке Земли? Что, если люди давно уже прилетели на Марс и никто об этом не знал? А сами они изредка наведывались на Землю.

– У вас это звучит почти правдоподобно.

– Не почти, а вполне! Доказательство перед нами. Остается только найти здесь людей, и наше предположение подтвердится.

Густая зеленая трава поглощала звуки их шагов. Пахло свежескошенным сеном. Капитан Джон Блэк ощутил, как вопреки его воле им овладевает чувство блаженного покоя. Лет тридцать прошло с тех пор, как он последний

раз побывал вот в таком маленьком городке; жужжание весенних пчел умиротворяло и убаюкивало его, а свежесть возрожденной природы исцеляла душу.

Они ступили на террасу, направляясь к затянутой сеткой двери, и глухое эхо отзывалось из-под половиц на каждый шаг. Сквозь сетку они видели перегородившую коридор бисерную портьеру, хрустальную люстру и картины кисти Максфилда Парриша на стене над глубоким креслом. В доме бесконечно уютно пахло стариной, чердаком, еще чем-то. Слышно было, как тихо звякал лед в кувшине с лимонадом. На кухне в другом конце дома по случаю жаркого дня кто-то готовил холодный ленч. Высокий женский голос тихо и нежно напевал что-то.

Капитан Джон Блэк потянул за ручку звонка.

Вдоль коридора прошелестели легкие шаги, и за сеткой появилась женщина лет сорока, с приветливым лицом, одетая так, как, наверно, одевались в году этак тысяча девятьсот девятом.

– Чем могу быть полезна? – спросила она.

– Прошу прощения, – нерешительно начал капитан Блэк, – но мы ищем... то есть, может, вы...

Он запнулся. Она глядела на него темными недоумевающими глазами.

– Если вы что-нибудь продаете... – заговорила женщина.

– Нет, нет, постойте! – вскричал он. – Какой это город?

Она смерила его взглядом.

– Что вы хотите этим сказать: какой город? Как это можно быть в городе и не знать его названия?

У капитана было такое лицо, словно ему больше всего хотелось пойти и сесть под тенистой яблоней.

– Мы не здешние. Нам надо знать, как здесь очутился этот город и как вы сюда попали.

– Вы из бюро переписи населения?

– Нет.

– Каждому известно, – продолжала она, – что город построен в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году. Постойте, может быть, вы меня разыгрываете?

– Что вы, ничего подобного! – поспешно воскликнул капитан. – Мы с Земли.

– Вы хотите сказать, из-под земли? – удивилась она.

– Да нет же, мы вылетели с третьей планеты, Земли, на космическом корабле. И прилетели сюда, на четвертую планету, на Марс...

– Вы находитесь, – объяснила женщина тоном, каким говорят с ребенком, – в Грин-Блафф, штат Иллинойс, на материке, который называется Америка и омывается двумя океанами, Атлантическим и Тихим, в мире, именуемом также Землей. Теперь ступайте. До свидания.

И она засеменила по коридору, на ходу раздвигая бисерную портьеру.

Три товарища переглянулись.

– Высадим дверь, – предложил Люстиг.

– Нельзя. Частная собственность. О господа!

Они спустились с крыльца и сели на нижней ступеньке.

– Вам не приходило в голову, Хинкстон, что мы каким-то образом сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно, вернулись на Землю?

– Это как же так?

– Не знаю, не знаю. Господи, дайте собраться с мыслями!

– Ведь мы контролировали каждую милю пути, – продолжал Хинкстон. – Наши хронометры точно отсчитывали, сколько пройдено. Мы миновали Луну, вышли в Большой космос и прилетели сюда. У меня нет ни малейшего сомнения, что мы на Марсе.

Вмешался Люстиг:

– А может быть, что-то случилось с пространством, с временем? Представьте себе, что мы заблудились в четырех измерениях и вернулись на Землю лет тридцать или сорок тому назад?

– Да бросьте вы, Люстиг!

Люстиг подошел к двери, дернул звонок и крикнул в сумрачную прохладу комнат:

– Какой сейчас год?

– Тысяча девятьсот двадцать шестой, какой же еще, – ответила женщина, сидя в качалке и потягивая свой лимонад.

– Ну, слышали? – Люстиг круто обернулся. – Тысяча девятьсот двадцать шестой! Мы улетели в прошлое! Это Земля!

Люстиг сел. Они уже не сопротивлялись ужасной, ошеломляющей мысли, которая пронизала их. Лежащие на коленях руки судорожно дергались.

– Разве я за этим летел? – заговорил капитан. – Мне страшно, понимаете, страшно! Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейна сюда бы сейчас...

– Кто в этом городе поверит нам? – отозвался Хинкстон. – Ох, в опасную игру мы ввязались!.. Это же время, четвертое измерение. Не лучше ли нам вернуться на ракету и лететь домой, а?

– Нет. Сначала заглянем хотя бы еще в один дом.

Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.

– Я привык во всем добираться до смысла, – сказал командир. – А пока что, сдастся мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хинкстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по Земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза, потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы как психиатр предложили бы в таком случае?

Хинкстон подумал.

– Что ж, наверно, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс.

– Отлично, Хинкстон. Мне кажется, мы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все.

Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города – объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать.

– В самую точку, капитан! – воскликнул Люстиг

– Без промаха! – добавил Хинкстон.

– Добро. – Капитан вздохнул. – Дело как будто прояснилось, и на душе легче. Хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно.... – Он улыбнулся. – Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей!

– Вы уверены? – сказал Люстиг. – Как-никак эти люди своего рода пилигримы, они намеренно покинули Землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.

– Наше оружие лучше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом.

Но не успели они пересечь газон, как Люстиг вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихой дремлющей улицы.

– Капитан, – произнес он.

– В чем дело, Люстиг?

– Капитан... Нет, вы только... Что я вижу!

По щекам Люстига катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали, лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал, споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:

– Эй, послушайте!

– Остановите его! – Капитан пустился вдогонку.

Люстиг бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хинкстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.

– Бабушка, дедушка! – звал Люстиг.

Двое стариков появились на пороге.

– Дэвид! – ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине. – Дэвид, о, Дэвид, сколько лет прошло!.. Как же ты вырос, мальчуган, какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь?

– Бабушка, дедушка! – всхлипывал Дэвид Люстиг. – Вы чудесно, чудесно выглядите!

Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом, целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.

– Входи же, входи, мальчуган. Тебя ждет чай со льда, свежий, пей вволю!

– Я с друзьями. – Люстиг обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом поздравал капитана и Хинкстона. – Капитан, идите же.

– Здравствуйте, – приветствовали их старики. – Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида – наши друзья. Не стесняйтесь!

В гостиной старого дома было прохладно; в одном углу размеренно тикали, поблескивая бронзой, высокие дедовские часы. Мягкие подушки на широких кушетках, книги вдоль стен, толстый ковер с пышным цветочным узором, а в руках – запотевшие стаканы ледяного чая, от которого такой приятный холодок на пересохшем языке.

– Пейте на здоровье. – Бабушкин стакан звякнул о ее фарфоровые зубы.

– И давно вы здесь живете, бабушка? – спросил Люстиг.

– С тех пор как умерли, – с ехидцей ответила она.

– С тех пор как... что? – Капитан Блэк поставил свой стакан.

– Ну да, – кивнул Люстиг. – Они уже тридцать лет как умерли.

– А вы сидите как ни в чем не бывало! – воскликнул капитан.

– Полно, сударь! – Старушка лукаво подмигнула. – Кто вы такой, чтобы судить о таких делах? Мы здесь, и все тут. Что такое жизнь, коли на то пошло? Кому нужны эти «почему» и «зачем»? Мы снова живы, вот и все, что нам известно, и никаких вопросов мы не задаем. Если хотите, это вторая попытка... – Она, ковыляя, подошла к капитану и протянула ему свою тонкую, сухую руку. – Потрогайте.

Капитан потрогал.

– Ну как, настоящая?

Он кивнул.

– Так чего же вам еще надо? – торжествующе произнесла она. – К чему вопросы?

– Понимаете, – ответил капитан, – мы просто не представляли себе, что обнаружим на Марсе такое.

– А теперь обнаружили. Смею думать, на каждой планете найдется немало такого, что покажет вам, сколь неисповедимы пути господни.

– Так что же, здесь – царство небесное? – спросил Хинкстон.

– Вздор, ничего подобного. Здесь такой же мир, и нам предоставлена вторая попытка. Почему? Об этом нам никто не сказал. Но ведь и на Земле никто не объяснял нам, почему мы там очутились. На той Земле. С которой прилетели вы. И откуда нам знать, что до нее не было еще одной?

– Хороший вопрос, – сказал капитан.

С лица Люстига не сходила радостная улыбка.

– Черт возьми, до чего же приятно вас видеть, я так рад!

Капитан поднялся со стула и небрежно хлопнул себя ладонью по бедру.

– Ну, нам пора идти. Спасибо за угощение.

– Но вы ведь еще придете? – всполошились старики. – Мы ждем вас к ужину.

– Большое спасибо, постараемся прийти. У нас столько дел. Мои люди ждут меня в ракете и...

Он смолк, ошеломленно глядя на открытую дверь.

Откуда-то издали, из пронизанного солнцем простора, доносились голоса, крики, дружные приветственные возгласы.

– Что это? – спросил Хинкстон.

– Сейчас узнаем. – И капитан Джон Блэк мигом выскочил за дверь и побежал через зеленый газон на улицу марсианского городка.

Он застыл, глядя на ракету. Все люки были открыты, и экипаж торопливо спускался на землю, приветственно махая руками. Кругом собралась огромная

толпа, и космонавты влились в нее, смешались с ней, проталкивались через нее, разговаривая, смеясь, пожимая руки. Толпа приплясывала от радости, возбужденно теснилась вокруг земли. Ракета стояла покинутая, пустая.

В солнечных лучах взорвался блеском духовой оркестр, из высоко поднятых басов и труб брызнули ликующие звуки. Бухали барабаны, пронзительно свистели флейты. Золотоволосые девочки прыгали от восторга. Мальчуганы кричали: «Ура!» Толстые мужчины угощали знакомых и незнакомых десятицентовыми сигарами. Мэр города произнес речь. И затем всех членов экипажа одного за другим подхватили под руки – мать с одной стороны, отец или сестра с другой – и увлекли вдоль по улице в маленькие коттеджи и в большие особняки.

– Стой! – закричал капитан Блэк.

Одна за другой наглухо захлопнулись двери.

Зной струился вверх к прозрачному весеннему небу, тишина нависла над городком. Трубы и барабаны исчезли за углом. Покинутая ракета одиноко сверкала и переливалась солнечными бликами.

– Дезертиры! – воскликнул командир. – Они самовольно оставили корабль! Клянусь, им это так не пройдет! У них был приказ!..

– Капитан, – сказал Люстиг, – не будьте излишне строги. Когда вас встречают родные и близкие...

– Это не оправдание!

– Но вы представьте себе их чувства, когда они увидели возле корабля знакомые лица!

– У них был приказ, черт возьми!

– А как бы вы поступили, капитан?

– Я бы выполнял приказ... – Он так и замер с открытым ртом.

По тротуару в лучах марсианского солнца шел, приближаясь к ним, высокий, улыбающийся молодой человек лет двадцати шести с удивительно яркими голубыми глазами.

– Джон! – крикнул он и бросился к ним.

– Что? – Капитан Блэк попятился.

– Джон, старый плут!

Подбежав, мужчина стиснул руку капитана и хлопнул его по спине.

– Ты?... – пролепетал Блэк.

– Конечно, я, кто же еще!

– Эдвард! – Капитан повернулся к Люстигу и Хинкстону, не выпуская руки незнакомца. – Это мой брат, Эдвард. Эд, познакомься с моими товарищами: Люстиг, Хинкстон! Мой брат!

Они тянули, теребили друг друга за руки, потом обнялись.

– Эд!

– Джон, бездельник!

– Ты великолепно выглядишь, Эд! Но постой, как же так? Ты ничуть не изменился за все эти годы. Ведь тебе... тебе же было двадцать шесть, когда ты умер, а мне девятнадцать. Бог ты мой, столько лет, столько лет – и вдруг ты здесь. Да что же это такое?

– Мама ждет, – сказал Эдвард Блэк, улыбаясь.

– Мама?

– И отец тоже.

– Отец? – Капитан пошатнулся, точно от сильного удара, и сделал шаг-другой негнушимися, непослушными ногами. – Мать и отец живы? Где они?

– В нашем старом доме, на Дубовой улице.

– В старом доме... – Глаза капитана светились восторгом и изумлением. – Вы слышали, Люстиг, Хинкстон?

Но Хинкстона уже не было рядом с ними. Он заметил в дальнем конце улицы свой собственный дом и поспешил туда. Люстиг рассмеялся.

– Теперь вы поняли, капитан, что было с нашими людьми? Их никак нельзя винить.

– Да... Да... – Капитан зажмурился. – Сейчас я открою глаза, и тебя не будет. – Он моргнул. – Ты здесь? Господи, Эд, ты великолепно выглядишь!

– Идем, ленч ждет. Я предупредил маму.

– Капитан, – сказал Люстиг, – если я понадобится, я – у своих стариков.

– Что? А, ну конечно, Люстиг. Пока.

Эдвард потянул брата за руку, увлекая его за собой.

– Вот и наш дом. Вспоминаешь?

– Еще бы! Спорим, я первый добежу до крыльца!

Они побежали взапуски. Шумели деревья над головой капитана Блэка, гудела земля под его ногами. В этом поразительном сне наяву он видел, как его обгоняет Эдвард Блэк, видел, как стремительно приближается его родной дом и широко распахивается дверь.

– Я – первый! – крикнул Эдвард.

– Еще бы, – еле выдохнул капитан, – я старик, а ты вон какой молодец. Да ты ведь меня всегда обгонял! Думаешь, я забыл?

В дверях была мама – полная, розовая, сияющая. За ней, с заметной проседью в волосах, стоял папа, держа в руке свою трубку.

– Мама, отец!

Он ринулся к ним вверх по ступенькам, точно ребенок.

День был чудесный и долгий. После ленча они перешли в гостиную, и он рассказал им все про свою ракету, а они кивали и улыбались ему, и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво прикуривал ее – совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно. И когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и грудой лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух в знак своего глубочайшего удовлетворения. Вечер упокоил листву деревьев и окрасил небо, и лампы в милом старом доме засветились ореолами розового света. Из других домов вдоль всей улицы доносилась музыка, звуки пианино, хлопанье дверей.

Мама поставила пластинку на виктролу и закружилась в танце с капитаном Джоном Блэком. От нее пахло теми же духами, он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танце, и его руки обнимали реальную, живую маму...

– Не каждый день человеку предоставляется вторая попытка, – сказала мама.

– Завтра утром проснусь, – сказал капитан, – и окажется, что я в своей ракете, в космосе, и ничего этого нет.

– К чему такие мысли! – воскликнула она ласково. – Не допытывайся. Бог милостив к нам. Будем же счастливы.

– Прости, мама.

Пластинка кончилась и вертелась, шипя.

– Ты устал, сынок. – Отец указал мундштуком трубки: – Твоя спальня ждет тебя, и старая кровать с латунными шарами – все как было.

– Но мне надо собрать моих людей.

– Зачем?

– Зачем? Гм... не знаю. Пожалуй, и впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.

– Доброй ночи, сынок. – Мама поцеловала его в щеку. – Как славно, что ты дома опять.

– Да, дома хорошо...

Покинув мир сигарного дыма, духов, книг, мягкого света, он поднялся по лестнице и все говорил, говорил с Эдвардом. Эдвард толкнул дверь, и Джон Блэк увидел свою желтую латунную кровать, знакомые вымпелы колледжа и сильно потертую енотовую шубу, которую погладил с затаенной нежностью.

– Слишком много сразу, – промолвил капитан. – Я обессилел от усталости. Столько событий в один день. Как будто меня двое суток держали под ливнем без зонта и без плаща. Я насквозь, до костей пропитан впечатлениями...

Широкими взмахами рук Эдвард расстелил большие белоснежные простыни и взбил подушки. Потом растворил окно, выпуская в комнату ночное благоухание жасмина. Светила луна, издали доносились звуки танцевальной музыки и тихих голосов.

– Так вот он какой, Марс, – сказал капитан, раздеваясь.

– Да, вот такой. – Эдвард раздевался медленно, не торопясь стянул через голову рубаху, обнажая золотистый загар плеч и крепкой, мускулистой шеи.

Свет погас, и вот они рядом в кровати, как бывало – сколько десятилетий тому назад. Капитан приподнялся на локте, вдыхая напоенный ароматом жасмина воздух, потоки которого раздували в темноте легкие тюлевые занавески. На газоне среди деревьев кто-то завел патефон – он тихо наигрывал «Всегда».

Блэку вспомнилась Мерилин.

– Мерилин тоже здесь?

Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу:

– Да. – Помешкал и добавил: – Ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром.

Капитан закрыл глаза.

– Мне бы очень хотелось увидеть Мерилин.

В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание.

– Спокойной ночи, Эд.

Пауза.

– Спокойной ночи, Джон.

Капитан блаженно вытянулся на постели, дав волю мыслям. Только теперь схлынуло с него напряжение этого дня, и он наконец-то мог рассуждать логично. Все – все были сплошные эмоции. Громогласный оркестр, знакомые лица родни... Зато теперь...

«Каким образом? – дивился он. – Как все это было сделано? И зачем? Для чего? Что это – неизреченная благость божественного providения? Неужто бог и впрямь так печется о своих детях? Как, почему, для чего?»

Он взвесил теории, которые предложили Хинкстон и Люстиг еще днем, под влиянием первых впечатлений. Потом стал перебирать всякие новые предположения, лениво, как камешки в воду, роняя их в глубину своего разума, поворачивая их и так и сяк, и тусклыми проблесками вспыхивало в нем озарение. Мама. Отец. Эдвард. Марс. Земля. Марс. Марсиане.

А тысячу лет назад кто жил на Марсе? Марсиане? Или всегда было, как сегодня?

Марсиане. Он медленно повторял про себя это слово.

И вдруг чуть не рассмеялся почти вслух. Внезапно пришла в голову совершенно нелепая теория. По спине пробежал холодок. Да нет, вздор, конечно. Слишком невероятно. Ерунда. Выкинуть из головы. Смешно.

И все-таки... Если предположить. Да, только предположить, что на Марсе живут именно марсиане, что они увидели, как приближается наш корабль, и увидели нас внутри этого корабля. И что они нас возненавидели. И еще допустим – просто так, курьеза ради, – что они решили нас уничтожить, как захватчиков, незваных гостей, и притом сделать это хитроумно, ловко, усыпив нашу бдительность. Так вот, какие же средства может марсианин пустить в ход против землян, оснащенных атомным оружием?

Ответ получился любопытный. Телепатию, гипноз, воспоминания, воображение.

Предположим, что эти дома вовсе не настоящие, кровать не настоящая, что все эти продукты моего собственного воображения, материализованные с помощью марсианской телепатии и гипноза, размышлял капитан Джон Блэк. На самом деле дома совсем иные, построенные на марсианский лад, но марсиане, подлаживаясь под мои мечты и желания, ухитрились сделать так, что я как бы вижу свой родной город, свой дом. Если хочешь усыпить подозрение человека и заманить его в ловушку, можно ли придумать лучшую приманку, чем его родные отец и мать?

Этот городок, такой старый, все, как в тысяча девятьсот двадцать шестом году, когда никого из моего экипажа еще не было на свете! Когда мне было шесть лет, когда действительно были в моде пластинки с песенками Гарри Лодера и еще висели в домах картины Максфилда Парриша, когда были бисерные портьеры, и песенка «Прекрасный Огайо», и архитектура начала двадцатого века. А что, если марсиане извлекли все представления о городе только из моего сознания? Ведь говорят же, что воспоминания детства самые яркие. И, создав город по моим воспоминаниям, они населили его родными и близкими, живущими в памяти всех членов экипажа ракеты!

И допустим, что двое спящих в соседней комнате вовсе не мои отец и мать, а марсиане с необычайно высокоразвитым интеллектом, которым ничего не стоит все время держать меня под гипнозом?..

А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хинкстону, потом согнать толпу; а когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших десять, двадцать лет назад, – разве удивительно, что они забыли обо всем на свете, забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его? Что может быть естественнее?

Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда: кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать, – да тут от счастья вообще онемеешь. И вот вам результат: все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут, рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, – станет марсианином? Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и сделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами...

Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх.

Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла. Ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон.

Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата:

– Ты куда?

– Что?

Голос брата стал ледяным.

– Я спрашиваю, далеко ли ты собрался?

– За водой.

– Ты не хочешь пить.

– Хочу, правда же хочу.

– Нет, не хочешь.

Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды.

Он не добежал до двери.

Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии; по залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядя, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежерытые могилы надгробных плит.

Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять – то ли мэр, то ли кто-то другой.

Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты.

Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли, точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день.

Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет «внезапной и безвременной кончины шестнадцати отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь...».

Комья земли застучали по гробовым крышкам.

Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающей меди в город, и в этот день все отдыхали.

Перевод Л. Жданова

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| <i>Э. Т. А. Гофман</i> | |
| Песочный человек | 4 |
| <i>В. Ф. Одоевский</i> | |
| Привидение | 30 |
| <i>Н. В. Гоголь</i> | |
| Страшная месть | 40 |
| <i>О. Бальзак</i> | |
| Эликсир долголетия | 68 |
| <i>П. Мериме</i> | |
| Вемера Илльская | 84 |
| <i>О. Уайльд</i> | |
| Кептервильское привидение | 106 |
| <i>А. Бирс</i> | |
| Рассказы | 128 |
| <i>Джек Лондон</i> | |
| Когда мир был юным | 168 |
| <i>Р. Брэдбери</i> | |
| Вельд. Из марсианской хроники | 182 |

Литературно-художественное издание

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Вып. 2

Заведующий редакцией И. Ю. Куберский. Художественный редактор И. В. Зарубина. Технический редактор В. И. Демьяненко. Корректор Т. П. Гуренкова.
И Б № 5950

Сдано в набор 24.04.92. Подписано к печати 12.08 92. формат 84×108¹/₃₂. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт, 15,75. Уч.-изд. л. 15.94. Тираж 100 000 экз. Заказ № 95.
С. 162.

Лениздат, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59.
Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 67.

На сон грядущий. Вып. 2/Сост. С. А. Прохв-
Н12 тилова. – СПб., Лениздат, 1992.–282 с.

ISBN 5-289-01473-X

Очередной выпуск библиотеки составлен из классических триллеров – лучших «страшных» рассказов мастеров мировой литературы. На страницах сборника вы познакомитесь с героями Гофмана, Р. Брэдли, В. Одоевского, Джека Лондона и других авторов.

**В ЛЕНИЗДЛТЕ
в 1992—1993 гг.
выйдут книги:**

**Евг. Анисимов
РОССИЯ БЕЗ ПЕТРА.
1725 – 1740**

(Историческая библиотека «Санкт-Петербург:
Хроника трех столетий»)

В ночь на 29 января 1725 года оборвалась жизнь Петра Великого, а вместе с ней закончились и великие реформы, потрясшие Россию. К власти пришли другие люди. Резкая критика преобразований, ожесточенная борьба за власть сопровождались арестами и ссылками. Оставленный двором Петербург медленно умирал...

В книге, построенной на оригинальных источниках и богато иллюстрированной, рассказывается о драматической истории России эпохи дворцовых переворотов, о бывшей «лифляндской полонянке», ставшей, императрицей Екатериной I, о «полудержавном властелине» А. Д. Меншикове, о царственном отроке Петре II, попавшем под влияние клана князей Долгоруких, о бедной племяннице Петра I, волею судьбы и случая превратившейся в императрицу Анну Ивановну, и ее фаворите Э. И. Бироне, о «мятежном подхалиме» А. П. Волынском и о фельдмаршале Минихе, свергнувшем всесильного Бирона... Читатель увидит изнутри жизнь императорского двора, познакомится с начальником Тайной канцелярии А. И. Ушаковым и его ведомством.

Книга известного писателя-историка, написанная ярко и занимательно, логически и хронологически продолжает его книгу «Время петровских реформ», вышедшую в Лениздате в 1989 году в той же «Исторической библиотеке».

Я. Гордин

МЕЖ РАБСТВОМ И СВОБОДОЙ.

1730 год

**(Историческая библиотека «Санкт-Петербург:
Хроника трех столетий»)**

Новая книга известного писателя-историка рассказывает об одном из важнейших моментов русской истории, о событиях 1730 года, когда две политические группировки – вельможная и дворянская – попытались ввести в России конституционное правление, но истощили силы в междоусобной борьбе и были разгромлены сторонниками самодержавия. Читатели познакомятся и с предысторией событий, относящихся ко времени «дела царевича Алексея». В книге предстает целая галерея ярких и трагических личностей, стремившихся переломить ход нашей истории. Не упрощая и не вульгаризируя исторический процесс, автор сопоставляет поражение конституционалистов в 1730 г. с драматической ситуацией вокруг Учредительного собрания в 1917 – 1918 гг.

А. Каменский

**«ПОД СЕНЬЮ ЕКАТЕРИНЫ...»
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА**

**(Историческая библиотека «Санкт-Петербург;
Хроника трех столетий»)**

В книге впервые в советское время делается попытка дать популярный очерк социально-политической истории России второй половины XVIII века – периода царствования Екатерины II. Сквозь призму современного исторического опыта автор оценивает роль личности императрицы и место екатерининской эпохи в отечественной истории. Придворная жизнь и зарождение русской интеллигенции, складывание понятий дворянской чести и попытки создания «правового государства», формирование национального самосознания, пугачевщина и масонство – эти и многие другие вопросы освещаются в книге. Узловыми пунктами повествования являются портреты выдающихся деятелей эпохи – самой Екатерины II, Петра III, братьев Орловых, Г. А. Потемкина, П. А. Румянцева, Е. Р. Дашковой и других.

**Издательство «Лениздат»
предлагает
предприятиям, организациям,
кооперативам
и частным лицам
услуги по рекламе**

Информацию
о вашей деятельности, о перспективных
проектах,
оригинальных технологиях
вы можете разместить
в книгах издательства

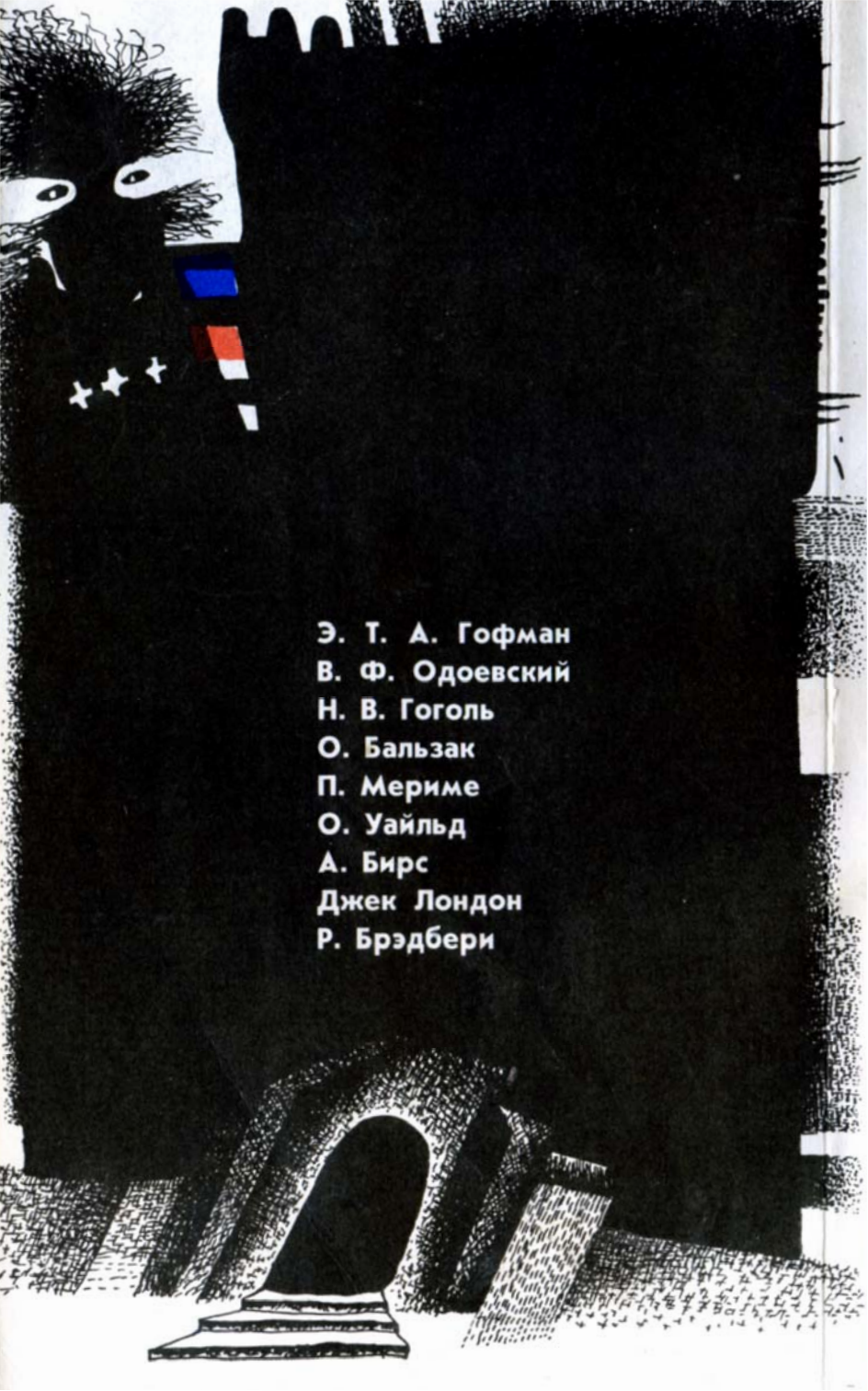
Достоинства рекламы в книгах Лениздата:

чрезвычайно широкий круг возможных потребителей (тиражи книг составляют от 100 тысяч до 1 миллиона экземпляров);

охват всех крупнейших регионов страны (книги Лениздата продаются на всей территории России и других государств СНГ);

рекордная долговечность рекламы (газета живет один день – книга живет годы).

С предложениями обращаться по адресу:
191023, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 59.
Служба маркетинга издательства.
Телефоны: 210-80-57, 311-94-74



Э. Т. А. Гофман
В. Ф. Одоевский
Н. В. Гоголь
О. Бальзак
П. Мериме
О. Уайльд
А. Бирс
Джек Лондон
Р. Брэдли